

ЧЕСТЬ



ОТВАГА

**Григорий
Карев**

Он мчался, подгоняемый злобными окриками. Они не стреляли, очевидно решив взять его живым. «Ну, дулю с маком! — подумал Яша. — Уж бе-

гать-то я умею получше вас!» Вдруг в конце улицы показалось что-то темное. Яша даже остановился от неожиданности: навстречу ему шли трое. Конечно же, патруль. Патруль, несущий ему смерть. А может, этот патруль еще не заметил его! Яша кинулся в подворотню, надеясь снова улизнуть проходными дворами. С разбегу всем телом ударил в ворота. Заперты. Деваться некуда, все равно поймают.

ТВОЙ СЫН, ОДЕССА !

МУЖЕСТВО

Григорий Карев

ТВОЙ СЫН, ОДЕССА!

(Героическая повесть)

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1972

P2
K-22

7-3-2

185-72

1. Встреча

Хоть бы дождь пошел, хоть бы гром загремел, что ли!.. Куда ни глянь — до самого горизонта степь да степь, а дышать нечем. С утра люди копошились в траншее, швыряли лопатами сухую, как окалина, землю, насыпали бруствер. Теперь попрятали головы под охапки кукурузных стеблей, распластались кто где, шевельнуться тяжело: палит солнце так, что лошадь и ту солнечный удар хватить может.

Лежит и Яша Гордиенко под ржаной копной. Ноют руки и спина после трудной работы. Болит голова от зноя. Веки такие тяжелые, что, кажется, никогда их и не разнять.

Яша вспоминает первый день войны. Собственно, о войне они тогда еще ничего не знали — вышли в море на рассвете. Миша Куртич уезжал с родителями в другой город, и дружки решили дать клятву верности друг другу, чтобы, значит, где бы кто ни был, что бы ни делал, — всегда о друзьях помнил, чувствовал плечо товарища.

Мы клянемся любимой Отчизне:
Расстояньям и тьме вопреки,
Будут светочем в море и в жизни
Лишь советской земли маяки!..

Тогда, в море, и познакомился комсорг класса военно-морской спецшколы Яша Гордиенко с новым товарищем Фимкой Бомм. Фимкин отец, политрук Бомм, погиб при защите Халхин-Гола. Тяжело больная мать отправила на лето Фимку с сестренкой Леной из Москвы в Одессу, к бабушке. Когда вернулись с моря, берег огорошил их такой новостью, что ребята выскочили на песок, забыв подтянуть на отмель «Диану».

Первое, что придумали они тогда, — в военкомат кинулись. Но ничего не добились. В военкомате было столько народу, что даже того, кто имел повестку, не всегда выслушивали. От ребят же просто отмахивались: некогда! Только на шестой день к вечеру им удалось поймать за руку военкома, выскочившего на минуту из кабинета. Майор настолько устал, что дал себя увести обратно в кабинет. Выслушав Яшу, он снял очки, протер их несвежим платком и, положив руку на Яшино плечо, сказал так, будто он был не армейским командиром, а старым, добрым учителем:

— Вот что, дети...

— А нам надоело играть в детей! — перебил его самый высокий из ребят, Вовка Федорович.

— Война идет. А мы комсомольцы! — поддержал товарища Миша Куртич, решительно положил на стол комсомольский билет и заранее заготовленное заявление. — Посылайте на фронт!

Остальные тоже положили свои комсомольские билеты и заявления рядом с документами Куртича.

Военком помрачнел, надел очки и фуражку, сказал строго и жестко:

— Вот потому, что война, требуется железная дисциплина и порядок. Каждый должен делать то, что нужно, а не то, что ему хочется. Поняли?.. Небось в школе вас ищут, а вы тут мешаете людям работать.

— В школе — каникулы.
— Каникулы не вечно будут, — возразил военком.
— До начала учебного года и война может кончиться, — настаивал на своем Яша Гордиенко.
— Тогда идите в райком комсомола.

Военком взял комсомольские билеты и решительно ткнул их в руку растерявшемуся Яше. Потом снова снял очки и добавил потеплевшим голосом:

— А заявления пусть остаются. Когда понадобится, вызовем.

В тот же вечер ребята забрались в сарайчик во дворе, где жили Гордиенки, оторвали половицу и закопали в землю бритвенный футляр с клятвой.

— Здесь закопано все, — сказал товарищам Яша, когда половица была прибита на прежнее место и догорела последняя спичка, — и наша мечта о дальних плаваниях на учебном корабле «Товарищ», и твой медицинский, Мишка, институт. До окончания войны закопано.

Ребята угрюмо молчали.

Через неделю их действительно вызвали. Только не в военкомат, а в райком комсомола, и послали за сорок километров сюда, под Большую Аккаржу, рыть противотанковые рвы. На сборном пункте снова встретились. Все, кроме Миши Куртича. Миша все-таки уехал с родными в Свердловск. На прощание условились: на письмах друг к другу, кроме подписи, рисовать маяк — высокую черточку с перекрестьем сверху, будто лучи во все четыре стороны, — тот самый маяк, что «расстояньям и тьме вопреки будет светочем в море и в жизни».

Поезд, которым уехали Куртичи, был одним из последних. Теперь железные дороги обрублены фронтом. Под Первомайском идут бои. Вчера сильно бомбили Одессу. А ночью слышен был гром артиллерийской канонады, и небо на севере вспыхивало зарницами, будто

там землю резали электросваркой. Сегодня вечером, говорят, всех переведут на ремонт аэродрома, а вырытые траншеи займут красноармейцы. «Единственный выход, — решил про себя Яша, — спрятаться в нише и дожидаться красноармейцев. Не прогонят же? А винтовку дадут... Или сам добуду в бою».

— Здравствуй, Капитан! — услышал Яша знакомый голос.

Яша с трудом приоткрыл отяжелевшие веки. У копы стоял, опираясь на лопату, долговязый парень в рыжих, исцарапанных стерней ботинках, немыслимо грязных широченных штанах и мокрой от пота неподпоясанной рубаше. Соломенный дырявый брыль, наверное, долго украшал огородное пугало, прежде чем попал на голову долговязого, лицо — в солнечных ожогах, с носа и больших ушей ключьями сползала кожа, а брови так выгорели, что о них можно было только догадываться. Яша еле узнал приятеля.

— С какого ты баштана сорвался, Фимка? — смеялся он, поднимаясь с земли.

— Это — ерунда, Капитан. Главное — не жарко ни чуточки, — похвастался Фимка Бомм. — Ты сродственничка моего, Вовку Федоровича, не встречал?

— Здесь он, Фимка, здесь. Пошли с Абрашей бычков пострелять. Без курева, говорят, уши пухнуть начали... А ты-то тоже здесь вкалываешь? Переходи к нам. Вместе веселее будет.

— Ты бы не водился с ним, Капитан...

— С кем бы это я не водился? — насторожился Яша.

— С Вовкой. Подлые они люди, эти Федоровичи...

— Ша! Об чем пар травишь? — сразу начал кипиться Яша. — Ты знаешь, что Вовка мой кореш.

— Знаю, Капитан, знаю. Но ты его клятве не очень-то верь. Понял? Он, как и его папаша, может ту клятву

вот так — тыфу. — Фимка сплюнул густую слюну на стерню.

— Про какую клятву мелешь?

— Да ты что, Капитан? Совсем ничего не знаешь?

Яша недоуменно покачал головой.

— Тогда слушай. Был я позавчера в городе — за лопатами для бригады посылали. Узнал новости: Вовкин папаша, Антон Брониславович, в городе объявился. Он же, знаешь, в Измаиле парфюмерией командовал. А тут пришел в военном, с кубарями в петлицах. Недели не прошло — снова в штатском. И дома не ночует, от жены прячется. Ну, я тоже вроде тебя веры слухам не дал, пошел к Вовке, его мать мне какой-то родней доводился — так, десятая вода на киселе. А она, как меня увидела, — в слезы. Так и так, дескать, бросил Антон Брониславович, из дому ушел, и что с ним — не знаю...

— Слушай, Фимка, — перебил его Яша. — А может, тебе врачи массаж на лицо прописали? Га?.. Так ты не стесняйся, я так размассажирую твою поганую рожу, что...

— Что массаж? Что массаж? Ты что, Капитан, сдурел? Ты разберись, Капитан... — Фимка в испуге схватился обеими руками за лопату и загородился ею от наступающего на него побелевшего Гордиенко. Но тот сильным рывком выхватил у него лопату из рук и отшвырнул ее в сторону.

— Я тебе покажу, турок, как клевету пускать! У Вовки же отец — коммунист, а ты его в дезертиры, гад, производишь!

Он замахнулся кулаком, но Фимка ловко уклонился от удара, обхватил Яшу руками за плечи и сильной подножкой свалил на стерню.

Живым клубком покатались они по горячей земле. Яша был пониже Фимки ростом, но жилистый и хватистый, наторевший в драках с уличными пацанами.

Фимка — постарше, да и, знать, не зря в московском спортклубе занимался: он успел захватить и вывернуть Яшину руку, прижать его подбородок головой, спутать ноги своими ногами.

— Я покажу тебе, морское копыто, — сопел Яша, стараясь подмять под себя Фимку. А тот скручивал ему руки, силясь положить на обе лопатки, говорил сквозь слезы:

— Я же тебе как корешу, Капитан. Я же по-хорошему тебе.

Силы Яши уравнивались ловкостью Фимки, и они катались, вырывая ногами комья земли, поднимая пыль.

— А что здесь за петухи дерутся! — услышали они вдруг над головой басовитый голос.

Это было так неожиданно, что Фимкины руки сами собой разжались. В другой раз Яша не преминул бы воспользоваться Фимкиной оплошностью, мигом оседлал бы его. Но голос над головой строго приказал:

— Прекратить драку немедленно!

Растрепанные, исцарапанные, ребята медленно поднялись с земли, удивленно поглядывая на статного армейского командира с выгоревшими на солнце бровями.

— Ты что за начальство? — недовольно буркнул Яша, трогая рукой огромный синяк под глазом.

Командир улыбнулся.

— Выходит — самое высокое среди вас.

— Вижу, со шпалой, — ответил Яша. — Капитан, что ли?

— Капитан, — подтвердил военный и улыбнулся. — А вы?

— Мы?.. Мы просто... ребята. Между прочим, меня тоже Капитаном зовут...

— И еще Хивой, — напомнил Яшину школьную кличку Фимка.

— Слушай ты, токарь-пекарь! — снова подступил

к Фимке Яша, сжав кулаки. — Катись-ка ты отсюда, пока я с тебя не спустил стружку толщиной с бумажный лист!

Фимка обиженно шмыгнул посом, подтянул сползающие штаны и, махнув рукой — ничего-то ты, дуралей, не понял! — подобрал затоптанные в пыль брыль и лопату и побрел к своей бригаде.

— Да смотри про Вовкиного отца не болтай — уши повывинчиваю! — крикнул ему вслед Яша.

— За что ты на него так? — спросил капитан.

Яша недоверчиво скосил глаза на незнакомого командира, небрежно махнул рукой:

— А-а, фармазон!

— Слушай, капитан Хива, — как бы не замечая Яшиной подозрительности, хлестнул себя веткой по голенищу сапога командир. — Ты не знаешь, где тут работает твой сверстник Яша Гордиенко?

— Кто-кто? — удивленно вытаращил глаза Яша.

— Гордиенко Яков, из спецшколы.

— А вам он зачем? — насторожился Яша.

— Много будешь знать — скоро состаришься, парень.

— Нет, вправду?

— Значит, нужен, если спрашиваю.

Яша даже оглянулся, не стоит ли поблизости Фимка Бомм. Вот жаль, что прогнал, пусть бы этот москвичистоя собственными ушами услышал, что капитану-то именно он, Яша Гордиенко, и нужен был. Жаль, ушел Фимка. И Вовка с Абрашей куда-то запропастились. Ведь не поверят же потом, поди, что капитан, настоящий капитан, к нему приходил!

— Так знаешь такого? — снова спросил капитан, пощелкивая хлыстиком.

— Знаю ли? — засмеялся Яша. — Я и есть Яшка... Яков Гордиенко.

— Да ну? — деланно удивился капитан. — А Хива?

— Честное комсомольское! А Хива... Хивой это меня в школе дразнят.

— Вон как! Ну что же, давай знакомиться, — протянул капитан широкую ладонь. — Командир летучего отряда капитан... Впрочем, фамилию ты еще узнаешь, а пока зови просто дядя Володя. Ясно?

— Ясно. Как в геометрии!

— В военкомат заявление писал?

— Писал.

— В райком комсомола ходил?

— Ходил.

— На фронт просился?

— Было такое.

— Ну вот, они и рекомендовали тебя в адъютанты... и еще один человек. Как? Согласен?

Яша сгорал от нетерпения и любопытства, а когда капитан произнес такие слова, как «адъютант» да «летучий отряд», у Яши даже поджилки задрожали. Он уже представил себя адъютантом командира летучего отряда — вроде Петьки при Чапаеве. Летит командир на рыжем жеребце впереди отряда — и Яша рядом, выхватывает командир сверкающую на солнце шашку — и Яша тоже. Ветер свистит в ушах, земля гудит под копытами коней, громом катится вслед за Яшей воинственный клич летучего отряда: «Ур-ра-а! Руби фашистов!!» Фашистам такое ни в жизнь не выдержать! Бросают они в бурьян свои автоматы и пулеметы, бегут, бегут, бегут в кукурузные заросли. А Яша с командиром уже наступают их и шашками направо, налево — раз, раз, раз! Падают на черную землю кукурузные стебли, срубленные вместе с фашистскими головами...

— Ну как? Согласен? — снова спросил капитан.

И нет уже ни кукурузного поля, ни порубанных фашистов, ни коня, ни шашки в руке... Есть выжженная степь, седая от солнца стерня да жесткая, как остывший

шлак, глина на бруствере. Есть незнакомый капитан, который пылливо смотрит на Яшу прищуренными в улыбке глазами... Уж не смеется ли он над Яшей? Не разыгрывает ли он его, как мальчишку?.. Надо бы посерьезнее себя держать с ним, а то и вправду пацаном посчитает.

Яша неторопливо отряхнул брюки от приставшей земли и соломинок, пригладил ладонью взвихренные рыжеватые волосы, деловито спросил:

— Нас четверо ходило в военкомат, в райком — тоже. Все — ребята что надо. Почему же меня только одного берет?

— Мне пока один адъютант нужен, — серьезно, в тон Яше, ответил капитан. — Потребуются еще бойцы — и других возьмем. Ты их держи на примете, если ребята крепкие.

— Ладно.

И все-таки ненадолго хватило Яше солидности — любопытство одолело. Он смутился, почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо, и, отвернувшись чуть в сторону, чтобы капитан не заметил, не передумал и не отказал в адъютантстве, спросил:

— А что такое летучий отряд? Кавалерия? Да?

Капитан понял его, пощадил мальчишечье самолюбие, потушил смешинки в глазах, ответил серьезно, как равному:

— Нет, Гордиенко, не кавалерия. Но часть очень серьезная, прибудешь — увидишь. Служба у нас опасная и трудная, берем только тех, кто ничего не боится и готов жизнь отдать в борьбе против фашистов.

Обняв Яшу за плечи, капитан увел его в степь. Расспрашивал о школе, о Яшиных друзьях, о комсомоле, говорил про Павку Корчагина. Разговаривали так задушевно, словно с братом Алешкой. На прощание капитан вынул из кармана банку консервов:

— На, держи! Первый адъютантский паек.

Яша смущенно отказался. Капитан сунул банку Яше в карман:

— Ладно, отдай матери. С харчами-то у вас негусто.

Яша так и остолбенел от неожиданности. Оказывается, капитан знает всю их семью: и про больного отца, и про Нинку, и про старенькую мать, которая плохо видит без очков.

— Чего ты? — слегка прищурил глаза капитан.

— Откуда вы знаете?

— Я все знаю, — улыбнулся капитан. — Бери.

— По-нят-но...

— Ну вот что, Яша Гордиенко, капитан Хива, — сказал капитан, когда Яша немного успокоился. — Можешь считать себя зачисленным в отряд. Но дело это пока секретное. Умеешь держать язык за зубами?.. Еще раз говорю: я для тебя — просто дядя Володя, ты для меня — адъютант Яшко. Ясно? Встретишь на улице — проходи мимо, не показывай виду, что знаешь. И так, пока я тебя не позову.

— Разве не сейчас?

— Нет, Яшко, не сейчас.

— А скоро? Позовешь-то скоро, товарищ капитан?

— Дядя Володя, — поправил его капитан. — Скоро, Яшко, скоро. Как только понадобится.

2. Тайна Большого Фонтана

Проходили дни за днями, бои уже шли у самого города, а от капитана ни слуху ни духу. И о летучем отряде ничего не известно...

— Да ну его, капитана! Видали мы таких! Вот эвакуируюсь вместе со школой, подучусь на курсах — и на корабль...

И Яша уже видит себя на стремительном торпедном катере, прорывающемся сквозь дымовую завесу к вражескому кораблю, или на эскадренном миноносце «Беспощадный», который вчера, говорят, огнем своих орудий разнес в щепки румынскую батарею под Дофиновкой. Вот только бы война не кончилась, пока Яша не попадет на палубу корабля.

Но война только начиналась. Все чаще и чаще налетали на город фашистские бомбардировщики, в порту и у Оперного театра рвались вражеские снаряды. Яша теперь только на несколько минут забежал домой покаяться, чтобы батя не волновался, по ночам дежурил на крыше, сбрасывал фашистские зажигалки. С крыши видны были ночные пожары в городе, червонно-оранжевые взрывы бомб и снарядов, густые трассы зениток, зарево боя за Лузановкой и Жеваховой горой. А когда утром спускался на землю, под ногами, как молодой ледок, хрустели вылетевшие почью из окон стекла, пахло дымом, известковой пылью, железной окалиной...

...Неожиданно исчез Алеша.

Трое суток не являлся домой. Яша пошел на ювелирную фабрику, где работал брат. Не успел переступить порог цеха, как на него накинулся знакомый мастер:

— Почему Алексей на работу не выходит? Случилось что? Или в армию призвали? Так хоть попрощаться забежал бы...

Яша понял, что в эти дни брат на фабрике не был. Он буркнул мастеру что-то насчет Лешкиной болезни и выбежал на улицу. Где искать? В больнице? В госпитале? Их теперь десятки в Одессе.

Матрена Демидовна выслушала Яшин рассказ, прижимая уголок темного платка к губам, чтобы не видел сын, как они дрожат у нее.

— Скажи Нинке, чтобы отцу не сболтнула. Нельзя ему волноваться.

Только в конце второй недели какой-то шустрый цыганенок постучал в дверь и, спросив, тут ли живут Гордиенки, сунул в руки оторопевшей Матрене Демидовне записку, свернутую треугольником, вроде фронтового письма. Записка была адресована Яше: «Принеси мне сегодня на шестнадцатую станцию Большого Фонтана чистую пару белья. Буду ждать в восемь часов вечера на трамвайной остановке. Батя пусть не волнуется. Алексей».

— Ох и всыплю я ему березовой каши, когда зайвится домой, — вздохнула Матрена Демидовна, собирая Яшу. — Не посмотрю, что у него под носом гречка всходит. Так и передай ему.

И, побренчав посудой в стареньком буфете, протянула Яше краюху хлеба и кусочек величиной со спичечный коробок желтого, облепленного ржавой солью сала:

— Отнеси. Может, с голоду там пухнет.

Яша ничего не ответил матери, завернул сало и хлеб в газету, примотал пакет шпагатом к свертку с бельем. А про себя подумал: «Дашь ли ты ему березовой каши — не знаю, но я ему, пижону, сегодня все выскажу. Разве можно в такое время уйти и никому ничего не сказать, зная, что отец плох, у матери сердце обрывается, да и я волнуюсь, ищу его по всему городу? Что он, в самом деле, не мог сам за бельем явиться? Матери огорчение, тревоги. И мне морока».

Всю дорогу готовился Яша отчитать брата похлестче, а встретил Алексея, и язык проглотил. Тот и не тот Алексей перед ним: мастак на все руки и шукарь на все шутки, первый в компании говорун и весельчак — будто воды в рот набрал, даже о родных не расспрашивает, а как только Яша рот раскроет, он сразу же:

— Тихо. Потом расскажешь. Тут не место.

И повел Яшу узкими кривыми переулками рыбацкого посёлка: пыльные стены-заборы из ноздреватого ра-

кушечника, за ними зеленые купы черешен, облитых вечерним красноватым светом. Алексей подошел к одной из калиток, звякнул щеколдой, скрипнул дверцей:

— Проходи, Яшко. Здесь я живу.

В глубине сада белел низенький домик с верандой, увитой виноградными лозами. Чуть дальше — дощатый сарайчик под разлапистой грушей, рыбацкие сети, натянутые на колья, будто их кто-то только что чинил. На веранде сидела высокая, худощавая и немолодая уже женщина, штопала какую-то детскую одежку. Мальчик лет одиннадцати, точь-в-точь тот цыганенок, что приносил записку от Алексея, и девочка постарше перебирали синие гроздья винограда.

— Это я, тетя Ксения, — сказал Алексей. — С братом.

Женщина повернулась к ним, приветливо кивнула и, откусывая нитку, сверкнула белыми, как сахар, зубами. Мальчик и девочка тоже подняли было к Яше загорелые лица, но женщина что-то сказала им, и дети снова занялись своим делом.

Они подошли к сарайчику и сели на деревянной скамейке под старой грушей. Алексей развернул принесенный братом сверток, достал из кармана самодельный нож с наборным черенком (предмет давних Яшиных вожделений), снял кожаный чехольчик, аккуратно очистил сало от соли и, отрезав половинку, положил его на кусок хлеба, протянул Яше:

— На, жуй.

— Это тебе мама прислала.

— Я тоже поем. — Алексей впился молодыми, крепкими зубами в сало. — Я тут не голодный, не думай. Скажи маме, пусть не беспокоится.

Как бы в подтверждение своих слов Алексей сходил в сарайчик, вынес оттуда две плитки шоколада для Нины, кусок свежесоленого розового сала килограмма в полтора и банку мясных консервов:

— Отдашь маме... А это тебе, — положил Яше на колени нож с наборным черенком.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Яша.

— Рыбачу, — коротко ответил Алексей.

Яша почувствовал, что Алексей не хочет рассказывать больше того, что уже сказал.

— Пойдем домой, — неожиданно для самого себя предложил Яша.

— Нельзя мне, Яшко. Я приду... Потом приду... Позже как-нибудь.

Яше стало обидно. Алексей никогда ничего не скрывал от него, и вдруг на тебе! Ему захотелось швырнуть Алексею его подарки и даже нож с наборным черенком, расплакаться и убежать. Он встал с места, отряхнул брюки:

— Ну, я пошел.

— Подожди, Яшко. Посиди еще немножко, — поднялся со скамейки и Алексей.

— Да чего же ждать? Темнеет уже.

— Ничего, — взял Алексей брата за руку. — Подожди. Может быть, и в самом деле вместе уйдем.

За калиткой заурчала и остановилась машина. Яша почувствовал, как вздрогнула рука брата. Тетя Ксения поднялась, что-то сказала ребятишкам, и те поспешно ушли в дом, а она потащила вслед за ними корзину с виноградом.

Скрипнула калитка. Вошли двое и направились по виноградной аллейке прямо к сарайчику, к братьям Гордиенко. И чем ближе они подходили, тем шире и удивленнее раскрывались глаза Яши. Прямо к нему шел высокий, затянутый портупеями капитан — дядя Володя и улыбался спокойно и весело, как тогда, под Большой Аккаржей.

— Ну, здравствуй, Яков Гордиенко — капитан Хива! — протянул он сильную руку Яше. — А я уже боял-

ся, что ты эвакуируешься со своей спецшколой. Вот и приказал Алексею вызвать тебя, так сказать, к месту службы.

Капитан оглянулся вокруг, прислушался, кивнул Алексею:

— А не пойти ли лучше в хату?

Алексей согласно кивнул головой и тотчас скрылся за виноградной шпалерой веранды.

— Воевать в летучем отряде не передумал? — спросил капитан, переступив порог чистенькой горницы.

— Где же тот отряд, дядя Володя?

— А отряд здесь и есть. Только обмундирование в нашем отряде бойцам не положено, Яшко. Вот видишь, все в гражданском. И я тоже военную форму сегодня последний день ношу. Мы — разведчики. Понятно?

— Разведчики, которые через линию фронта ходят?

— Нет, то другие, фронтовые разведчики. Не мы через линию фронта, а фронт через нас пройдет. Все уйдут, а мы останемся и будем воевать, будем бить фашистов из подполья. Теперь понятно?

— Понятно.

— Ну, коли понятно, тогда знакомься. Вот Петр Иванович Бойко, твой будущий командир.

Яша повернулся к тому, кто вошел в комнату следом за капитаном, и оторопел от удивления: перед ним, улыбаясь, стоял Вовкин отец.

— Антон Брониславович?..

Присутствующие рассмеялись.

— Э-э, Яшко! Так не годится, — устало садясь за стол, сказал капитан. — Разведчики зовутся не так, как их когда-то отец с матерью нарекли. Стал разведчиком — забудь все прошлое, даже свое имя. И ты забудь, Яшко, про Антона Брониславовича Федоровича. Среди разведчиков нет такого. Есть Петр Иванович Бойко. Ясно?.. И я теперь уже не дядя Володя, а товарищ Бадаев.

— Вот это да-а... — протянул Яша, не спуская глаз с Антона Брониславовича.

— Что ты на меня уставился, Яков? — рассмеялся Федорович, приглаживая ладонью вьющиеся красивые, как у Вовки, волосы. — Мы ведь старые знакомые, а ты и поздороваться забыл.

— Забудешь! Тут «мама» выговаривать забудешь! Мне такое наплели про вас, дядя Антон... тьфу ты, Петр Иванович.

— Небось прежняя жена моя жаловалась? Так это, брат, дело такое...

— Она само собой... Недавно я одному фармазону за вас фонарей под глаза навешал.

— С чего бы вдруг? — удивился Федорович.

— Дезертир, говорит, Антон Брониславович. Я ему втолковываю, что коммунист не может быть дезертиром. А он свое: дезертир да дезертир. Ну и пришлось...

— Кто же это такой? — краснея, спросил Федорович.

— Да так, один... Ну, я ему еще устрою желто-зеленую жизнь. Он еще увидит небо в мелкую крапинку, морское копыто!

— Постой, постой, Яшко, — перебил Бадаев. — Ты сам слышал, когда Федоровича называли дезертиром?

— Ну, дядя Володя! Вот честное...

— Так это же прекрасно! Завтра же попрошу в штабе написать во все райвоенкоматы письмо о розыске дезертировавшего лейтенанта стройбата Федоровича Анто́на Брониславовича.

— Ну что вы, Павел Владимирович! — даже сквозь сильный загар заметно было, как побледнел Федорович. — Ведь вы же знаете... Я же...

— Я все знаю, Петр Иванович! А вот фашисты не знают, и документ о дезертирстве из Красной Армии может вам пригодиться. Лучшее свидетельство о благо-

надежности. Так-то, Петр Иванович!.. Да вы садитесь, товарищи.

Алексей и Яша присели на табуретки, только Федорович растерянно переминался с ноги на ногу.

— Оно, конечно... но как бы чего не вышло...

— А, по-моему, райвоенкоматы уже эвакуировались, и та штабная бумага к ним не попадет, — вставил Алексей.

— Опять же прекрасно! — усмехнулся Бадаев. — Эти письма попадут прямо в руки гестаповцев вместе с захваченной ими почтой. Наверняка!

Федорович продолжал топтаться, жалобно поглядывая большими глазами то на Алексея, то на Яшу, будто просил у них защиты. Яше жалко стало Антона Брониславовича — такой позор на себя принимать ни за что ни про что! Дезертир! Да таких, отец рассказывал, еще в гражданскую войну без суда расстреливали!

— Так дезертиром-то будет числиться Федорович, а я-то под фамилией Бойко жить буду...

— В нашем деле всяко может быть, — уже строго сказал Бадаев. — А вдруг тебя опознают и донесут в гестапо, что Бойко и Федорович одно и то же лицо? Вот ты тогда и скажешь, что в дезертирах, мол, пришлось фамилию сменить...

— У меня же... У меня же сын! — схватился за голову Федорович. — Что Володе скажут о его отце!

— Сын ваш эвакуируется вместе со спецколотой, знать о вас ничего не будет, как и многие сыновья о своих отцах. А после войны гордиться вами будет. Ясно?

За окном совсем стемнело. Во двор вошли какие-то люди. Начали выгружать из машины тяжелые ящики с оружием и боеприпасами. Антон Брониславович и Алексей пошли в сад показывать заранее подготовленные тайники.

3. Матрос с эскадренного броненосца

На стене под стеклом старый-старый снимок. Его, наверное, вырезали из какого-то журнала или книги, и, хотя плотная бумага малость пожелтела и выцвела от времени, снимок хорошо сохранился. Низкие борта плавучей крепости будто впаяны в стальную гладь моря. В серое небо поднимается белая мачта с артиллерийскими площадками, дальномерными рубками, сигнальными мостиками. Яков Кондратьевич закрывает глаза и видит, как огромное красное полотнище флага взмывает по тонким плетеным канатикам-фалам к самой вершине мачты — клотуку. Видит жерла орудий, которые, кажется, вот-вот вздрогнут от залпа и окутают корабль клубами порохового дыма, как тогда, в январе восемнадцатого, когда команда эскадренного броненосца пришла на помощь одесским рабочим, восставшим против гайдамаков. Десять лет своей молодости отдал Яков Кондратьевич этой плавучей крепости.

Рядом со снимком броненосца — фотография бравого моряка: лихо заломленная бескозырка с тисненными золотом литерами на ленте «Синоп», белая форменка с вырезом широкого воротника, большие, горящие огнем глаза, упрямая складка губ и усы — черные, пышные, боцманские усы! Таким видели палубного матроса Якова Гордиенко в огневые годы революции: на улицах города — в боях против гайдамаков и анархистских банд, в окопах под Рыбницей — против румын, в днестровских плавнях — против немецких оккупантов.

Он бы и сейчас показал себя в ратном деле — пятьдесят три года не возраст, — да вот беда, второй год прикован Яков Кондратьевич тяжким недугом к постели, отекие ноги трудно переложить с места на место, не то что...

— Мотя, — попросил Яков Кондратьевич жену, — положи мне подушку повыше да позови хлопцев.

Яков Кондратьевич сам любил мастерить всякие забавные штуки и учил этому детей: ладить клетки для птиц, замысловатые крысоловки, вязать пестрые самодуры на скумбрию, вырезать из древесного корня удивительные фигурки. Соседи говорили, что если бы Яков Кондратьевич занялся своими «штуками» всерьез, то в доме Гордиенко было бы достатка куда больше, чем от его плотницкого рубанка. Но бывший матрос только улыбался в ответ и, пока позволяло здоровье, плотничал на торговых судах, учил столярному мастерству детдомовских сирот и радовался, будто каждому ученику судьбу в руки вкладывал.

Сыновья охотно перенимали отцовское мастерство. Но Яша больше всего любил, когда отец, подкрутив кончики усов и лукаво прищурив один глаз, начинал рассказывать о кораблях, о дальних странах и штормовых морях, о мужестве и морском братстве. Это были удивительные истории, пережитые Яковом Кондратьевичем или услышанные им от бывалых моряков в годы флотской службы. Лешка устраивался поудобнее в стареньком кресле, Яша прикипал к табуретке, боясь шелохнуться, и даже егоза Нинка замирала, забравшись с ногами на самодельный диванчик. Тогда за окном, как за корабельным иллюминатором, ревели волны и свистали австралийские брестеры, африканские белаты и ветры других неведомых материков, скрипели старые акации, как мачты, белыми парусами вздымались и хлопали развешанные во дворе простыни, а комната наполнялась запахами соли, корабельных красок и морских водорослей. Иной раз так заслушивались отца, что только материн голос, зовущий к ужину, и возвращал их из плаваний у сказочных берегов, только он и напоминал, что они не на шлюпах Головнина у Курил и не на

линкоре Лазарева в Наваринской бухте, а в своей полутемной квартирке на Нежинской. Не было бы этих рассказов, может, и не стал бы Яша учиться в спецшколе.

— Ну, рассказывайте, сынки, каким ветром дышите, какие песни петь собираетесь? Что в городе нового?

Такими словами в этот раз встретил Яков Кондратьевич своих сыновей.

Ребята переглянулись. Фашисты, подтянув новые войска, с каждым днем атакуют все ожесточеннее, трудно приходится нашим. И в городе беспокойно — поползли слухи, что скоро войска уйдут из Одессы, оставят город. Да нужно ли об этом говорить больному отцу до поры до времени?

— Что же молчите, сынки?

— Дела наши неплохи, батя, — начал Алеша, стараясь придать своему голосу бодрости и беззаботности. — Норму хлеба увеличили по карточкам. И на фронте после высадки десанта под Григорьевкой дела пошли лучше.

Яков Кондратьевич закрыл глаза и вздохнул.

— Не надо обманывать, Алексей... Видно, в чем-то мы с матерью неправильно вас воспитывали. Но врать мы вас никогда не учили.

— Он правду говорит, батя, — попробовал заступиться за брата Яша.

— Помолчи, Яков, — строго сказал отец, не открывая глаз. — О тебе особый разговор. Алексея не берут в армию, потому что пальца на правой руке нет... Понятно. Есть перед людьми оправдание. Хотя я на его месте все равно был бы в окопах... Палец не голова, без него воевать можно.

Отец приподнялся на подушке, открыл глаза. И оттого, что болезнь высинила под глазами широкие полосы, они еще пуще блестели антрацитовым блеском.

— А ты, Яков?.. У тебя чего не хватает? Натянул полосатку на грудь, так думаешь, уже и моряком стал?..

Вся беда, видать, в том, что все вам легко да просто досталось. Избаловала вас Советская власть. Хочу в школу — пожалуйста! Хочу в комсомол — будь ласков! Хочу в моряки — сделай одолжение, Яков Якович!.. И так во всем. А мы за это кровью платили... Только мы — темные, как мать сыра земля, неграмотные, как пеньки осиновые, — понимали, что без Советской власти нам нет жизни на белом свете... А вы этого не понимаете. Дивно и горько мне, сыночки.

— Батя...

— Чего, батя? — оборвал Яшу Яков Кондратьевич. — Вы вчера куда-то заваялись, а Володька с Абрамом прощаться к тебе приходили: эвакуируются вместе со школой. Они-то мне и рассказали, какво положение. Молодежь эвакуируют, значит, сдавать город будут. Это мне тоже по восемнадцатому году знакомо.

Яков Кондратьевич умолк, нахмурил брови, будто всматривался в далекие годы, припомнил уход кораблей из Одессы, эвакуацию коммунистов и комсомольцев, орудия броненосца, нацеленные на гайдамацкие курени: троньте кого, разнесем в щепки! Метнул черным блеском из-под бровей на притихших сынов:

— Почему ты, Яков, не уехал со школой? Почему вы оба не уходите?.. Меня жалеете?.. Так мне с этой палубы все равно не подняться. — Яков Кондратьевич зло стукнул кулаком по краю кровати и отвернулся к стене.

А Яше показалось, что в глазах отца блеснул не сухой угольный блеск, а что-то такое, чего он раньше в них никогда не видал.

— Мать боитесь оставить? — снова начал Яков Кондратьевич, не поворачивая к сыновьям головы. — Так ее с Нинкой авось не тронут... Да и негоже мужчинам за мамкину юбку... Вон ведь какие здоровяки уже вы-

гнались, на коленях дуги гнуть небось можете! Или у вас гордости никакой нет, чертовы дети?!

Яков Кондратьевич жестко вытер ладонью усы и повернул голову к сыновьям.

— Гордиенки вы! Гор-ди-ен-ки!.. Может, от того самого приказного казака Василя Гордиенко род ведете, что против живоглота Посполитаки народ поднял! Может, запорожская кровь течет в ваших жилах!.. Придут фашисты, заарканят, штыком в спину и погонят на фронт. Против кого воевать будете? Против тех, с кем я Советскую власть завоевывал? Против их детей?.. Да лучше бы я с гражданской не вернулся, чем таких сыновей вырастил...

В изнеможении откинулся на подушку. В наступающих сумерках бескровное лицо сливалось с белой наволочкой. Только усы да тени под глазами выделялись еще резко, строже и непримиримее.

Яше было жаль отца. Мучается. От бессилия и оттого, что не знает, как поступят его сыновья в тяжелую минуту. А сказать правду?.. Нет, нет! Тайна!.. А отец подозревает в трусости... Как поступить? Что бы посоветовал Бадаев? Антону Броиславовичу он приказал признать себя дезертиром... А как быть ему, Яше? Признаться трусом?.. Или открыться отцу?..

— Вы не правы, батя...

Это сказал Алексей. Голос тихий и робкий. Такого Яша никогда не слышал у старшего брата.

Отец не шевельнулся, словно не слышал.

— Вы не правы, батя, — громче и тверже повторил Алексей.

— Что? — спросил отец. — Что? Перечить отцу вздумал? Или надеешься на то, что я слаб и не в силах отходить тебя тренчиком!

— Не горячитесь, батя, — спокойнее и ровнее сказал

Алексей. — Сами же сказывали, что и тогда, в восемнадцатом, не все уходили из Одессы.

— Как не все?— приподнял голову над подушкой старый матрос. — Как не все уходили?

— Ну, были такие, что оставались... По заданию партии. Ведь были?

— Ты мне про партию да про Родину толковать брось, — сурово понизил голос отец. — Для такого разговору право заслужить надо. А перед памятью тех, кого партия здесь оставляла, даже мы, моряки, потом головы преклоняли. Ты знаешь, что за люди то были?

— Знаю, батя. Вы сами нам рассказывали о них... Были они, теперь наш черед пришел.

— Уж не вас ли с Яковым тут оставить решили? Куда уж там — подпольщики! — В голосе отца дрогнула злая насмешка и вдруг оборвалась гневом: — Сами надумали! Игру затеяли! Ох, какими же дурнями вы у меня выросли!.. У тех же оружие было, ор-га-ни-зация! А у вас что? Как цыпят, передушат вас... Человек один... человек один ничего не может!

Отец разволновался, зашелся долгим и трудным кашлем. Яша улучил момент, прошептал Алексею на ухо:

— Зачем разговор затеял? Волновать его нельзя, сказать правду — тоже.

Алексей тихонько отстранил Яшу ладонью, подождал, пока отец придет в себя.

— Вы же говорили, батя, что мы — Гордиенки: гордые, значит, сидеть сложа руки не имеем права. Так я вас понял? А организация будет.

— Будет, — устало передразнил отец. — Вы думаете, это так просто? Будет! Объявление на углу Дерибасовской вывесите о наборе в организацию, что ли?.. Сами погибнете и других погубите.

— Да не можем же мы, батя, рассказывать вам...

не имеем права... — чуть не плача с досады, выговорил Алексей.

— Не можем, батя. Клятву дали, — подошел к самой постели Яша.

— Чего-о?.. Чего не можете? — испуганно и удивленно спросил Яков Кондратьевич. — Какую клятву?..

Он вдруг ослаб, притих, прикрыл глаза бледными веками и долго-долго лежал молча, о чем-то думая, вспоминая, взвешивая. Нервная дрожь пробежала по лицу. Плотные сжатые губы вздрагивали, и от этого большие усы шевелились. Наконец, Яков Кондратьевич глубоко вздохнул, нащупал Яшину руку, сжал:

— Трудно вам будет, хлопчики... Ой, трудно. Труднее, чем нам в восемнадцатом...

— Знаем, батя.

— Знаете?.. Ничего вы не знаете, потому что в жизни все сложнее, чем вы думаете. Вообще дела в жизни не всегда идут гладко, а в подполье...

Отец умолк и долго испытующим взглядом смотрел на сыновей.

— Значит, не сами выдумали?

— Нет, батя, — тихо ответил Алексей.

— А хотя бы и сами? — загорячился Яша. — Я все равно потроха из них выпускал бы!

— Горяч ты, сынок. — Холодная рука отца снова легла на Яшину ладонь. — Горяч. Подполье — это... Алексей сумеет. А тебе трудно будет. Ты горяч, как лошенок, и прям, как мачта. Но мачта тоже под ветром, если б не гнулась, сломалась бы. Понял? На то она и гнется, чтобы не сломаться.

— Надо будет, согнусь, — ответил Яша. И тут же добавил: — Согнусь, чтобы снова выпрямиться.

— Это новое у тебя! — удивился отец. — Кто-то, видать, уже schoлил.

— Есть такой... — потупился Яша. Перед глазами

у него встал Бадаев. Странно, они с отцом даже незнакомы, а и тот и другой подметили в нем неумение притворяться, тот и другой сказали о мачте, пружинящей под ударами ветра. Значит, правда. Ну ничего! Если надо — в нитку вытянусь... Другие умели, и я должен суметь...

Отец пошарил рукой под матрасом, достал маленький затейливый ключик, протянул Алексею.

— На, отомкни мой сундучок. Есть там связка бумаг всяких. Поддай.

Морской сундук, кованый, раскрашенный, с узким дном и широкой резной крышкой, выклеенный внутри цветными картинками, доставшийся матросу Гордиенко от старого боцмана, был для ребят вместилищем тайн. Казалось, что отец все свои удивительные рассказы о море доставал из этого сундука. Там лежала старая отцовская тельняшка, широкий ремень с бронзовой бляхой, намотанная на катушку лента с бескозырки, гюйс — синий воротничок с тремя белыми полосками и множество других интересных и волнующих вещей, о которых отец мог рассказывать часами. Ключ от хитрого, открывающегося со звоном замка никогда еще не приходилось держать в руках ни Алексею, ни Яше. Даже мать могла прикоснуться к морскому сундуку только для того, чтобы осторожно смахнуть с него тряпочкой пыль.

Отец долго развязывал вылинявшие тесемки, разворачивал хрустящую вошеную бумагу, перебирал пальцами, будто узнавал на ощупь пожелтевшие, пахнущие старым деревом бумаги. Наконец выбрал одну из них — сложенную ввосьмеро, потрескавшуюся на сгибах, испещренную поблекшим шрифтом газету — и подал ее Алексею.

— Тут про комсомольцев-подпольщиков сказано.

Алексей зажег свет и стал бережно разворачивать

газету. Яша успел прочитать огромные сероватые буквы через весь лист: «Коммунист» — и ниже, мельче и светлее: «Орган подпольного Одесского губкома Всероссийской Коммунистической партии большевиков. Январь 1920 года». Но отец устало махнул рукой:

— Не сейчас. Потом прочтете. Это вам останется.

Алексей сложил газету, передал Яше, положил сверток обратно в сундук, щелкнул звенящим замком.

— Мать поберегите, — тихо сказал отец. — Не надо ей говорить про подполье. У нее и так горя на плечах, что грунта на якорных лапах.

4. Первое задание

Сперва Яша подумал, что капитан Бадаев пошутил. Потом обиделся. Как же так: все партизаны вооружаются, уходят в катакомбы, готовятся огнем встретить фашистов, а ему велено раздобыть рундучок чистильщика сапог, пару щеток, побольше шнурков и банок с ваксой и сесть у железнодорожного вокзала. Какой дурень вздумает чистить штиблеты, когда войска оставляют город, а вокруг рвутся бомбы и снаряды!.. Да и кто он, Яша Гордиенко, — партизан или?.. Эх, капитан, капитан! Опять смотришь на мои шестнадцать лет, а не хочешь заглянуть мне в душу — я ведь такое могу!..

Бадаев выслушал Яшины обиды, взвихрил ладонью на голове мальчишки рыжую челку.

— Вся-то и соль, Яшко, в том, что надо делать не то, что тебе хочется, а то, что надо. Москве надо будет знать: когда и сколько фашистов приедет, какое у них вооружение, что на железной дороге делается? Иди, Яшко, смотри за вокзалом и все мне докладывай, а я — Москве. Этим ты поможешь нашим на фронте.

— Так фашисты еще когда будут! — попробовал оправдаться Яша.

— Когда бы они ни пришли и кого бы они ни спросили, им всякий скажет: «Вот этот рыжий? Да он и при советских войсках тут сапоги чистил. Парень — оторви да брось!» Может, и поверят фашисты такой характеристике, и не погонят тебя от вокзала. Вот тебе деньги, покупай что надо для чистильщика — и за работу.

Яша сходил на Привоз к знакомому сквернослову и выпивохе одноногому Михаилу Бунько. Когда-то Миша Бунько был лихим юнгой на «Синопе». В гражданскую — пулеметчиком на матросском бронепоезде. Но, потеряв ногу в бою под станцией Верховцево, сошел, как говорят, с курса. В годы нэпа рассорился с друзьями-комсомольцами, ударился в спекуляцию, потом безответно влюбился в красавицу — дочку какого-то нэпмана, запил горькую. И остались от бравого матроса-партизана только синие наколки на груди да лоскуты полосатой тельняшки под рваным пиджаком.

— Дядь Миш, прими в помощники.

— Ты что, парень, от мобилизации бегаешь? — прищурил красные с перепоя глаза чистильщик. — Так броня я не выдаю.

— Я сяду возле вокзала, и половина выручки ва-ша, — спешил заинтересовать Бунька Яша.

— Пшел вон!

— На хлеб-то зарабатывать надо? — жалобно спросил Яша.

— Дур-рак! — смачно выругался Бунько. — А еще в морской школе учился. Щетками сейчас хлеб не добудешь... На твоём месте — в морскую пехоту. Эх!

Но, увидев в Яшиных руках пол-литровую бутылку со спиртом и пачку денег, махнул рукой:

— Ладно, так и быть — забирай все это шкиперское имущество... Да не подумай, что Михайло Бунько спир-

том прельстился. Из уважения к твоему батю, Якову Кондратьевичу, за бесценок, можно сказать, орудия труда уступаю...

...Семьдесят три дня героически боролся город против фашистских полчищ. Авиационными моторами ревел раскаленное зноем небо. Залпами корабельной артиллерии гремело море. От Сухого Лимана до Лузановки полыхал огнем, взрывался авиационными бомбами, минами и снарядами берег... И вот в одну ночь — в ночь, когда тридцатипяти тысячная армия защитников ушла в Севастополь, — Одессу будто колпаком накрыли. Оборвалась канонада. Замер и затаился город. Безмолвствовали заводы и не дымили фабричные трубы. Стояли, будто споткнувшись на перегонах, трамвайные вагоны. Погасло освещение. Высохли последние капли воды в водопроводе. Почта, театры и кино бездействовали. Вокзал был разрушен, железнодорожные пути повреждены и завалены обломками каменных стен, кусками обгорелых шпал и ржавых рельсов.

Но фашистам не терпелось скорее пограбить Транснистрию, как они называли оккупированное Советское Заднестровье. На ремонт железной дороги и станции были брошены войска и согнано население. Несколько дней солдаты расчищали подъездные пути от искоренной арматуры, кирпичей и щебенки. В уцелевшем крыле здания разместилась дирекция вокзала и станции. Первыми пошли грузовые составы, потом прибыл эшелон солдат. Вслед за вооруженными бандитами в город хлынули хищные чиновники и коммерсанты. Начался грабеж. Оккупанты реквизируют у населения теплую одежду, продукты, ценности. По улицам бродила фашистская солдатня. Приехавшие с запада торгаши открыли пивные, кабаре, рестораны, где развлекались офицеры.

Первыми вышли на улицы бесстрашные одесские мальчишки. Одеты в пестрое рваньё, сперва робкими парами, а затем горластой оравой с раннего утра до темна, до комендантского часа, толклись они на привокзальной площади. Торговали табаком, сигаретами, мылом, поршком от вшей и чесотки, старыми лезвиями для бритв, бриллиантином, зеленкой, камешками для зажигалок и разной мелочью. Каждый, расхваливая свой товар, старался перекричать других. Военных побаивались, но на штатских налетали, как воробы на конопляный сноп, совали в руки, тыкали под самый нос всякую дребедень:

— Две леи, домнул*, две леи!

— Купите помаду, домнул! Мама умирает с голоду!

Но домнул презрительно отмахивался от ребятишек и только, если видел флакон «Красной Москвы» или пачку румынского табака, жадно тянулся к ним руками.

— Десять марок, господин! Сестренке на лекарство надо! — со слезой в голосе зывал счастливый обладатель товара.

Домнул вертел в руках пачку табаку, нюхал, самодовольно прищелкивал языком:

— Тутун Румания?! Ай, бун тутун. Бун тутун! Бун Румания! Ай, бун, бун Румания!

Пацан уже жалел, что мало запросил за свой товар — домнул так хвалит табак, что, пожалуй, и двадцать марок за него не пожалел бы!

— Ай, бун, бун тутун! Карош, карош табак!

Румын положил пачку в саквояж и долго шарил по карманам. Наконец вынул металлическую монетку в одну лею и презрительно швырнул ее мальчонке:

* Домнул (румын.) — господин.

— Иеши афары, гемана! Пошел вон, босяк!

И сразу же за плечом домнула выросла черная фигура жандарма.

Мальчонка застонал, как от удара. Никто не произнес ни слова, все потупили налитые ненавистью глаза и молча начали расходиться.

Но через час-полтора мальчишеская стая снова шумела на привокзальной площади. Ничего не поделаешь: дома ждут голодные семьи, а может, и больные матери, которым кусочек хлеба или хотя бы вареная картофелина очень нужны. А где их взять?

Яша в этом галдеже и суете был как рыба в воде. Он выбивал сапожными щетками чечеточную дробь и нараспев приговаривал:

— «Одесский блеск»! От Гамбурга до Сингапура моряки всех флагов чистят штиблеты только «Одесским блеском»! Перед сапогом, надраенным «Одесским блеском», кавалеры бреются, барышни тают и ахают, ахают и тают! Пижон должен быть пижоном даже на войне! Пятнадцать капралов, паяривших вчера сапоги «Одесским блеском», сегодня произведены в локотененты!.. *

Конечно же, ни вчера, ни позавчера, ни третьего дня ни капралы, ни локотененты у Яши сапог не чистили. Но чего только не придумаешь, чтобы тебе поверили и не погнали от вокзала!

— Последняя банка «Одесского блеска»! Последняя банка неповторимого блеска! — выкрикивал Яша. — Рецепт утерян! Изобретатель утонул при неудачной попытке эвакуироваться. Спешите воспользоваться «Одесским блеском»!

Яша изо всех сил старался говорить побойчее, повеселее выбивать щетками, даже улыбался каждому проходящему румыну, а в душе чуть не плакал от зло-

* Локотенент (румын.) — лейтенант.

сти. В городе шли облавы и аресты, на афишных тумбах каждый день вывешивались приказы с угрозами расправы за малейшее «нарушение порядка»: за хранение оружия — расстрел, за связь с «агентами большевистской разведки» — полевой суд, за хождение по улицам после комендантского часа — смертная казнь, за плохую светомаскировку окон — каторга. Вывешивались списки расстрелянных. На Чумке каждую ночь слышны были автоматные очереди — то фашисты расправлялись с «подозрительными элементами». На Новом базаре и Греческой площади стояли виселицы...

Яша вспоминал листовки, которые сам расклеивал: «...не складывать ни на минуту оружия в борьбе против немецких оккупантов. Беспощадно расправляйтесь с захватчиками, бейте их на каждом шагу, преследуйте по пятам, уничтожайте их, как подлых псов... Пусть в нашей Одессе грозно пылает пламя партизанской мести!»

И оно пылало, это пламя!

Шестнадцатого октября партизаны Бадаева встретили фашистов огнем у входа в Нерубайские катакомбы. На вторую ночь на нерубайском кладбище был сильный бой. Говорят, его вели моряки из отряда прикрытия. Шли они из-под Дальника в катакомбы Холодной Балки да заблудились в тумане. Пять часов горстка морских пехотинцев дралась против целого полка, почти две сотни карабинеров полегло... Кто-то бросил гранату под машину с солдатами у Дюковского парка. Обстреляли фашистскую колонну на Слободке. На Маразлиевской взлетела в воздух румынская комендатура — погибло полторы сотни немецких и румынских офицеров, собравшихся на совещание. Вот и сейчас на столбе, над самой головой у Яши, висит объявление, в котором фашисты обещают за поимку и выдачу властям главаря «диверсионной банды» десять тысяч марок. Яша улы-

бается — ведь это он доложил Бадаеву о назначенном в комендатуре совещании офицеров гарнизона!

Ах, как хотелось Яше быть в катакомбах, участвовать в боях, быть героем на виду у товарищей! А тут сиди в одиночестве... Иногда ему хотелось втоптать в землю коробки с ваксой и разломать ненавистный рундучок. Но вспоминал Бадаева, его приказ и, потихоньку выругавшись, снова выбивал щетками чечетку, кричал-нахвалялся «Одесский блеск».

Фашисты не обращали внимания на рыжеватого, одетого в старые лохмотья паренька. Только однажды у Яшиного рундучка остановилось двое в темно-желтых мундирах: высокий майор, с большим носом и тонкими, аккуратно подстриженными усами, и коротконогий локотенент, с маленькими красными кроличьими глазами. Пьяный локотенент в чем-то убеждал майора, показывая пальцем то на Яшу, то на банки с ваксой.

— Агент, секрет! Шпион!

Майор презрительно кривил губы, качал головой и отвечал односложно:

— Ну-и, нет.

«Подозревает, гад, что я за вокзалом слежу, не верит, красноглазый, что сапоги чищу», — догадался Яша и еще веселее забарабанил щетками по рундучку:

— Честь имею за две леи ваши ботиночки сделать, как картиночки!

Майор криво усмехнулся, а локотенент что-то буркнул ему и, выпятив большой квадратный подбородок, подошел к Яше вплотную, с размаху поставил на рундучок запыленный сапог.

— А луструй гетеле! Чисть!

В душе Яша пожелал локотененту сто болячек в самые разнообразные места и первую встречную пулю в голову, но, вспомнив наказ Бадаева быть самым угодливым чистильщиком во всей Одессе, привстал со стуль-

чика и, растянув губы в улыбке до ушей, поклонился локотененту чуть ли не до носка сапога, схватил бархатку и ловко вытер пыль. Бормоча что-то невнятное, он так усердно натирал щетками смазанные кремом голенища, что можно было подумать, всю жизнь только и делал, что чистил офицерские сапоги.

Дядь Мишина вакса действительно была бесподобным кремом. Вскоре в голенищах локотенента отражалась вся привокзальная площадь как в зеркале. Румынский офицер это заметил, и сперва удивление, а затем довольство отразилось на его лице. Но когда Яша, закончив работу, протянул руку за двумя леями, локотенент презрительно оттолкнул ее носком сапога:

— Иеши афары!

— Будь доволен, парень, что ты чистил сапоги самому локотененту Чорбу, — смеясь, сказал по-русски майор.

Оба темно-желтые самодовольно рассмеялись и ушли.

— Поверил, собака! Поверил, что я настоящий холуй! — облегченно вздохнул Яша и почувствовал, будто какая-то тяжесть свалилась с его плеч.

— Подходи, не жалеи ни марок, ни лей!

Впрочем, этому верили не только фашисты. Третьего дня, когда Яша, устав расхваливать неповторимый «Одесский блеск» и разомлев от жары, задремал, в рундучок тарахнул увесистый кусок кирпича, чуть не опрокинув все хозяйство незадачливого чистильщика. Яша вскочил на ноги как ошпаренный.

Стоял безветренный, должно быть, последний в ту осень знойный день. Утренние поезда уже отошли, мальчишки разбрелись, на привокзальной площади не было ни души. У решетчатой ограды скверика бесшумно пластался в пыли тощий, грязно-бурый, облезлый кот, подкрадываясь к какой-то зазевавшейся птахе. Если бы не

свежеотколотый кусок кирпича, явно предназначавшийся для его головы, Яша подумал бы, что все это ему померещилось. Он хотел было уже снова сесть на свой раскладной табурет, как у самого виска просвистел второй камень и, ударившись о булыжник мостовой, разлетелся красными осколками. Облезлый птицелов испуганно отпрянул от ограды, птица пискнула и пулей взмыла в высоту. Яша проследил глазами путь, которым пролетел кирпич, прежде чем упал и раскололся на мостовой: под кустом желтой акации, за которой начиналось заросшее бурьяном Куликово поле, серела ситцевая рубаша.

«Добрый метальщик, — подумал Яша. — Метров на тридцать швырнул такую каменюку. Видать, гад, натренированный... А сейчас прячется, в землю влипает и за мной вряд ли следит».

Не раздумывая, Яша со всех ног бросился к кусту. Ситцевая рубаша взметнулась, из-под куста выскочил долговязый парень, очевидно не ожидавший нападения, и, пригнувшись, пеловко выбрасывая в стороны коленки, спотыкаясь о кочки, побежал к зарослям Куликова поля. Но Яша не зря считался лучшим бегуном спецшколы. Он довольно быстро настиг удирающего и уже хотел было схватить его за шиворот, как тот внезапно остановился, повернулся, разбросил в стороны руки и, выпятив узкую грудь, прохрипел в лицо Яше:

— Бей, гад!.. Бей, фашистский холуй!..

Яша и впрямь было размахнулся кулаком, но, увидев перекошенное злобой лицо, замер от удивления.

— Ты, что ли, Фимка?

— Бей, продажная шкура! Бей! — не унимался Фимка Бомм. — Выслуживайся, может, в полицаи возьмут!

— Это ты в меня, что ли, кирпичом запустил?

— Сволочь! — ругался Фимка,правляя в шта-

ны выбившуюся рубашку. — Комсомольцем прикидывался, хорошие стихи читал, клятву кровью писал, а теперь фашистам сапоги наяриваешь?! Ты их языком вылизывай, авось учтут твоё усердие.

Яша понял, в чём дело: Фимка поверил. Поверил в его, Яшино, холуйство так же поспешно, как когда-то в дезертирство Антопа Брониславовича. Эх, Фимка, Фимка, прямая душа! Ему, видать, и во сне не может присниться, что можно для виду перед оккупантом, угождать и держать в кармане нож, чтобы в любую минуту всадить в спину.

— Что же ты промахнулся, Фимка? Бросил, так попасть надо.

— Не бойся, в следующий раз не промахнусь, — насупился Фимка.

— Следующего раза может и не быть, Фимка.

— Что? Порешить меня хочешь? Тогда действуй сразу, насмерть. Все равно на одной земле с предателем я не уживусь!

Яша по привычке глубоко задвинул руки в карманы брюк, а Фимка понял, что тот сейчас вытащит пистолет (у предателей всегда пистолеты) и вот здесь, в кустах, на безлюдном Куликовом поле, разрядит в него, комсомольца Фимку Бомма, всю обойму. Фимка вовсе не думал о том, что будет после его смерти. Конечно, больно, наверное, когда в тебя стреляют. Но ничего! Боль он перетерпит, какая бы она ни была, и даже виду не подаст фашистскому холую. Но надо такое сказать, прежде чем Гордиенко выстрелит, чтобы те слова всю жизнь жгли предателя, терзали и мучили его. Такие слова в книжках всегда говорили перед расстрелом красные герои своим врагам-белякам. Только Фимка сейчас никак не мог вспомнить ни одного такого слова. Даже ругани не мог вспомнить такой крепкой, чтобы пристала к убийце, как плевок.

Гордиенко смотрел на Фимку и ругал себя последними словами: ну какой же я дуб стоеросовый, что проглядел, оттолкнул от себя такого парня! Ведь он и своего родственника возненавидел только потому, что заподозрил его в дезертирстве, и мне голову прошибить хотел, поверив, что я из комсомольцев в холуи переместнулся, не побоялся, что за такое дело как пить дать самому можно в петлю попасть. Ишь глазищи горят смертной ненавистью! С предателем на одной земле, говорит, ужиться не сможет. Того и гляди в горло мне вцепится!.. Это же из тех кремневых хлопцев, которых, Бадаев говорил, привлекать к борьбе надо. Ну, что же, врага потерять, а друга найти никогда не поздно! Фимка в деле пригодится!

— Вот что, Фимка, я на больших не обижаюсь.

— Это кто же больной?

— Ты, Фимка Бомм. Ясное дело! Тебе, —видать, шмель в ухо влетел, коли поверил, что я в холуи пошел.

— Ну ты полегче! И не выкручивайся. Я с тебя короткий день глаз не спускаю.

— И что же ты видишь, Фимка?

— Вижу, что уж больно ты сгибаешься, в пружинку выешься, чтобы угодить господам фашистам.

— Это ты верно подметил, Фимка, — взял за локоть товарища Яша. — Верно, пружинкой выюсь. Только пружина в затворе для того и вьется, чтобы сильнее ударить по капсулю... Если бы мачта не гнулась, сломалась бы, Фима.

Фимка хотел было вырвать свой локоть из Яшиной руки, но, глянув в глаза Яши, вдруг сдвинул белесые брови, вытянул губы, будто свистнуть хотел, и застыл на мгновение. Потом бледное лицо порозовело, словно осветилось изнутри.

— Ты что, Капитан? Может... может, вправду задание имеешь?

Яша изо всей силы сжал его локоть, рывком приблизил к себе:

— Ша, пижон! Об этом ни одна живая душа знать не должна! Понял?.. И ничего я тебе больше говорить не стану.

Потом шепотом:

— Если хочешь полезным быть, держись меня. Понял? Верные хлопцы нужны.

Фимка прикусил тонкую губу.

— Бреешь? На пушку берешь?

— Моря б мне век не видать, если брешу.

— Смотри, Яшка, обманешь — сам погибну, но тебе горло вот этими перегрызу, — Фимка оскалил крепкие и острые зубы.

— Хватит дурить. Помнишь на шаланде:

Мы клянемся любимой Отчизне:
Расстояньям и тьме вопреки...

— Помню, — подхватил Фимка, поднимая кулак, —

Будут светочем в море и в жизни
Лишь советской земли маяки!

— Смотри, Фимка! Это уже не игра.

— Что ты, Капитан! — ударил себя кулаком в грудь Фимка. — Хочешь, я клятву кровью напишу? Хочешь?

— Не надо. Свою кровь побереги, чужой докажи верность клятве...

— Ой, Капитан! — У Фимки перехватило дыхание. — Слышь, Капитан? Двинь меня по морде. Ну, двинь, пожалуйста! Чтоб искры из глаз...

— Тише, ты! — строго оборвал его Яша.

...Оказывается, Фимка тоже пружинкой вился. Только теперь он уже был не Фимка Бомм, а Николай Бакков — жил по документам погибшего под бомбежкой соседкиного сына.

— А Ленка? — спросил Яша о Фимкиной сестре.

— Она фамилию менять не хочет, говорит: за эстонку сойду. У нас мать вправду была эстонкой.

— Как же: брат Баков — русский, а сестра Бомм — эстонка? Тоже мне конспираторы!

— А она теперь уже не сестра мне. Просто квартирантка. Бабка-то наша умерла, мы с соседкой, Баковой, жилплощадь объединили: я сыном стал, она квартиранткой.

— Другие соседи — надежные? Не продадут?

— Нет. Кухня-то на двоих была: соседка с бабкой. Теперь у нас отдельная квартира. А во дворе меня боятся, я ведь... — Фимка запнулся, покраснел. — Я ведь в полиции работаю...

— Как в полиции? — насторожился Яша.

— Так... — чертыхнулся Фимка. — Заставили, подонки, полицейский участок ремонтировать. Был бы я один, веришь не веришь, повесился бы, но руки паскудить не стал бы. Но Лена... Ей же что-то кушать надо! И так светится вся... Да еще, на беду, приглянулся этой шкуре, Борисову. Узнал, гад, что я умею на машинке печатать, и пристал: иди да иди к нему секретарем! Как же — комиссар полиции без секретаря не может!.. Ну, насчет секретаря — дулю с маком. А проводочку я им устрою, насидятся они у меня в темноте. Жаль, взрывчатки нет, а то господин комиссар со всем синкли-том взлетел бы у меня как на Маразлиевской...

— И думать не смей проводку портить, — перебил его Яша. — Подумаешь, диверсия: пару раз полицейский участок без света останется! А тебя повесят на Новом базаре. Видел там виселицы?.. И насчет секретарства не торопись отказываться. Может, придется еще тебе перед тем Борисовым на пузе ползать, чтобы войти в доверие. Если хочешь быть настоящим бойцом, делай не то, что хочется, а то, что надо. Понял?..

И все же пришлось ребятам для отвода глаз разыг-

рать потасовку: со стороны поглядеть, можно подумать, в клочья разнесут друг друга. А Фимка просит:

— Капитан, ну двинь же ты меня хоть раз по-настоящему, для профилактики. Я ведь в самом деле хотел тебя укокошить.

5. Ли

Ответ от Бадаева пришел на второй день. Владимир Александрович похвалил Яшу за разумную инициативу, посоветовал передать Фимке, чтобы тот постарался привлечь к делу надежных ребят, вынужденных работать в полиции, но Яше разрешил поддерживать связь только с Фимкой. О самом Фимке никому ни слова, только ему, Бадаеву, лично докладывать.

Петляядесятыми улицами, Яша подался в Красный переулок, к Фимке на квартиру.

Дверь ему открыла стройная, голубоглазая девушка. Она совсем не была похожа на Фимку, только в манере щурить большие глаза и в робкой застенчивости угадывалось что-то общее. Когда Яша спросил Фимку, лицо девушки из чуть розоватого стало матово-бледным, а голубые глаза стали холодными и зелеными, как у злой кошки.

— Вы ошиблись квартирой, молодой человек, — тихо, но твердо ответила девушка. — Никакой Фимка здесь не проживает.

Яша хотел было уже извиниться и уйти — может, действительно спутал номер квартиры, а расспрашивать девушку не решался, но, снова взглянув на нее и увидев плотно сомкнутые, тонкие, чуть вздрагивающие губы, точь-в-точь как у Фимки, когда тот сердился, спросил напрямик:

— Но вы же Лена? Вы Лена Бомм. Фимкина сестра?

Темные шнурочки бровей вздрогнули, она шмыгнула мимо Яши, закрыла дверь на задвижку, повернулась к нему, спрятав руки за спину.

— Да, я Лена Бомм, квартирантка Баковых. Но...

— Ах да! — сообразил наконец Яша. — Мне Николай Баков, сын вашей хозяйки, как раз и нужен.

Лена снова сердито нахмурила бровки.

— Так кто же вам нужен?

— Фимка Бомм, — рассмеялся Яша, поняв всю глупость своего поведения.

Лена тоже еле заметно улыбнулась.

— Кто вы? Откуда вы знаете Фимку?

Яше никогда в жизни еще не приходилось так близко и так серьезно разговаривать с девушками: к одноклассницам он относился снисходительно-пребрежительно, как все мальчишки к девчонкам-сверстницам; в спецшколе их вообще не было... Яше вдруг стало неловко, он смутился, вспыхнул. Это продолжалось одно мгновение.

— Я Фимкин товарищ. Гордиенко моя фамилия.

— Гордиенко? Ах это вы и есть Яшка Капитан!

Она улыбнулась смелее, доверчиво и просто, но вдруг спохватилась, прикусила нижнюю губку и погасила улыбку.

— А вы за провокатора приняла. Мне все доносы на Фимку чудятся. Думала, кто-нибудь уже капнул, вот вас и подослала.

Она не выдержала, засмеялась громко и откровенно, как смеются после нервного напряжения.

— Пойдемте в комнату. Фимка сейчас должен прийти. Рад вам будет очень. Он так много о вас говорил... Да снимите свою кубанку. И перестаньте хмуриться...

Все еще смеясь, она схватила Яшину кубанку и буквально втащила Яшу в комнату, пододвинула стул.

— Нет, лучше садитесь на диван. Да перестаньте вы хмуриться, бука. Мне, честное слово, интересно с вами познакомиться. Хотите, я вас чаем напою?.. Ну, хотите? У нас есть еще грузинская настоящая заварка, бабушкина.

Нет, Яша совершенно не умел ни разговаривать, ни держать себя с девушками! Его смущали и ее смех, и суета, и то, что они были вдвоем в квартире, и то, что она была вся какая-то светлая, хрупкая. Он сидел на старом диванчике, боясь шелохнуться, чтобы не показаться неуклюжим, боясь проронить слово, чтобы не сказать что-нибудь грубое, неуместное. Наконец взял себя в руки, осмелел.

— Ну ладно, давайте... Давайте будем знакомиться.

— Вот хорошо! Только называй меня на «ты», — протянула она тоненькую горячую ладонь. — Меня зовут Ли.

— Ли? — удивился Яша.

— Да, Ли. Это эстонское имя.

— Эстонское?

— Да... А разве у эстонок нет такого имени? — смутилась она.

— Не знаю.

— И я не знаю. Я в Эстонии никогда не была и из эстонок знала только маму. Но у нее было русское имя — Мария. А Ли — это я вычитала в книжке... про индейцев.

Они оба рассмеялись, и Яше стало тепло и уютно.

— Я знал одну эстонскую девочку, ее звали Линда.

— Линда! — Лена умолкла, долго и пристально смотрела на него прищуренными глазами, будто хотела рассмотреть в нем что-то неизвестное еще ни ей, ни самому Яше. Потом заговорила тихо, словно сообщала очень важное, такое, что Яша должен был запомнить навсегда: — Теперь все будут звать меня Линдой. Все,

кроме тебя! Хорошо? Только ты один будешь звать меня Ли, как познакомились. И то не при людях, а только один на один. Хорошо? Это будет наша тайна.

— Ладно, Ли.

— А я тебя буду звать Капитаном. Как Фимка.

— Ладно.

— Только пусти, пожалуйста, мою руку. Ты ее совсем раздавил, Капитан Медведище.

Яшу бросило в жар. Лена это заметила и рассмеялась озорно и звонко.

Когда пришел Фимка, они пили чай. Яша, обжигаясь, тянул сладковатый душистый напиток, грыз и нахваливал жесткие соевые коржики, жаренные на подсолнечном масле:

— Ох вкуснятина!

— Ешь, ешь, у нас еще есть.

Яша понял: Лена израсходовала на него все свои продовольственные запасы. Он отложил недогрызенный коржик.

— Спасибо, Ли.

А Фимка даже не удивился приходу Яши. Поздоровавшись, он деловито вынул из кармана смятый листок.

— Вот, читай. Это будет завтра расклеено по всему городу.

В приказе командующего румынскими войсками города Одессы генерала Гинерару говорилось:

«...каждый гражданин, проживающий в городе, который знает о каких-либо входах в катакомбы или подземные каменоломни, обязан в течение 24 часов от момента опубликования настоящего приказа сообщить о них в письменной форме в соответствующий полицейский участок.

Караются смертной казнью жители тех домов, где по истечении указанного срока будут обнаружены входы и

выходы катакомб, о которых не было сообщено властям».

— Где ты его взял? — спросил Яша, когда Лена вышла из комнаты.

— Только что доставили в участок целую пачку со строгим наказом: к утру расклеить на всех домах.

После неудачных боев у нерубайских катакомб румынское командование, взяв из резерва целую дивизию, предназначенную для отправки на фронт, оцепило огромный район на протяжении многих километров. Из Нерубайского, Усатовых хуторов и Куяльника выселили большинство жителей, у входов в катакомбы дежурили военные патрули. Партизаны все чаще обнаруживали на месте выходов из катакомб каменные пробки, залитые бетоном, или плотные завалы, начиненные минами. Связным Бадаева все труднее было добираться в город.

Приказ Гинерару предвещал новый поход оккупантов против катакомбистов. Его надо было как можно скорее доставить командиру отряда. Передав Фимке указания Бадаева, Яша начал собираться, чтобы до наступления комендантского часа успеть встретиться со связным.

— Ты хоть познакомишь меня когда-нибудь с командиром? — спросил Фимка.

— Для тебя, Фимка, командир — я. Через меня будешь получать все приказы, через меня и отчитываться об их исполнении. Твои ребята должны знать только тебя. Подбери самых надежных. Понял? Всяко может быть, Фима. Нельзя, чтобы фашисты, поймав одного, потянули за ним всю организацию. Но каждый должен знать: всякое стоящее донесение докладывается в Москву, всякое серьезное задание идет оттуда.

Фимка зажмурил глаза. Ресницы стали влажными, потемнели.

— Москва... — еле слышно прошептал он.

— Ну, ты мне это брось, — нахмурился Яша.

— Я ничего, Капитан. Я ничего... — Он резко отвернулся и зачем-то начал щипать себя за щеку. — Но только ты никогда не был в Москве... не знаешь, что это такое — Москва.

— Мне и Одессы хватит, — сердито сказал Яша. — Брось, говорю...

У двери его провожала Лена.

— Придешь еще, Капитан? — спросила, поправляя воротничок Яшиной рубахи.

— Приду, Ли. Обязательно приду.

И, почувствовав жар на щеках, выскочил в дверь.

Все свои шестнадцать лет прожил Яша в Одессе, несчетно раз ходил по Соборной площади, знал на ней, кажется, каждый платан с фисташково-желтой корой, на которой будто навечно застыли солнечные блики, каждую акацию с кривыми когтями-колючками. И вот этот город и эта площадь вдруг показались ему чужими, неизвестными: чужой город, чужие патрули, чужие вывески, чужие люди... Но Яша думал о Бадаеве и думал о Лене — светлой и хрупкой, ощущал ее прикосновение, бросившее его в жар, и слышал звенящий смех.

Ему было хорошо и тревожно.

6. На две леи блеска

Осень-таки взяла свое. Погода что день, то хуже. С моря потянуло промозглым ветром. Серые лохмотья туч опускались все ниже и ниже, пока не зацепились за площадь мелким, скучным дождем. У вокзала сегодня пустынно, сыро и холодно. Яша пододвинул табурет-раскладушку к самому рундучку, чтобы ветер не студил

ноги, натянул на уши рыжую кубанку, поднял сукопный воротник, поджал коленки к самой груди, прикрыл их полами бушлата, спрятал озябшие руки в рукава... Пригрелся. Потянуло ко сну. И, как сквозь сухой туман, привиделась Лена. И все вокруг преобразилось: ни дождя, ни осени, ни пустынной площади — у ног плещется голубое, как глаза ее, море, плывут по небу облачка белые, как ее волосы, упруго трепещет парус, как блузка на ее груди, озорно и щедро звенит ветер... И огромный цветок шпажника — розовое с белым — тянется к его лицу, обжигает прикосновением к щекам... Нет, то не ветер звенит, то она смеется где-то рядом...

Холодная капля, сорвавшись с кубанки, протекает за шиворот — Яша просыпается. Даже перед самим собой ему неловко, почти стыдно за сон. Подумаешь, что он девчонок не видал! И сразу же ругает себя: ах, турок! Сlopал вчера все девчонкины припасы. Теперь небось сидят с Фимкой голодные. Сейчас же пойти раздобыть каких-нибудь харчей и отнести. А где ты их теперь раздобудешь? В магазинах пусто. К рынку не подступиться, на все сумасшедшие цены. Кругом — голод. Вот разве что у мамы? Конечно, у нее не бог весть какие запасы, но картошки и бураков они с Нинкой натаскали из-под Жеваховой горы в дни обороны. Если маме объяснить, что, мол, остались двое без родных, в чужом городе, с голоду, мол, пухнут... Мама добрая, поймет. Она такая, что последним поделится. И Яша живо представил себе, как Матрена Демидовна снимет очки, близоруко прищурит большие черные глаза, сложит на груди усталые руки и укоризненно покачает головой: «Другие в дом тащат, а ты все из дому... Ну да возьми уж, возьми котелочек картох, раз уж такая незадача... Да бурачков пяток, да морковки. Сырой морковки погрызть, и то червяка заморить можно...»

Пожалуй, сегодня поездов больше не будет. А си-

деть одному, может, и небезопасно, еще патруль, чего доброго, привяжется. Надо идти, рассуждает Яша. А дрема снова морит его, склеивает веки, окунает в забытие.

— Эй, чистильщик! Наведи-ка лоск, — трогает кто-то за плечо.

Яша и не заметил, как подошел к нему человек, как поставил ногу на рундучок.

Раскрыл глаза. Смотрит: огромный разбитый ботинок под самым носом. Уж видывал Яша стоптанные, и рваные, и разбитые ботинки. Но такой впервые довелось — задники выкривленные, будто нарочно их на колодке корежили, от подошвы — только потертые ранты остались, да и те проволокой к носкам прикручены, чтобы ненароком не потерялись, а верх — латка на латке. Ну прямо-таки прахом рассыпается ботинок. И залеплен грязью так, что на ботинок вовсе не похож!

Яша взглянул вверх. Перед ним стоял пожилой, заросший седой щетиной человек в мокром парусиновом дождевике и синей фуражке железнодорожника. Из-под лохматых бровей пылливо смотрели карие глаза.

— Да тут чистить нечего, — растерялся Яша. — Да и погода!

— Ладно. Мокрый дождя, а нагой разбою не боится. Чисть, коли велят.

Яша соскреб щепкой грязь. Зябко поежился — под бушлат, к самым подмышкам, заполз сырой холод. Начал вытирать ботинок влажной тряпицей. Леший его знает, пристанет ли крем к мокрой коже. Но чистить надо — может, провокатор какой, опять проверяет, как тот локотенент. Яша локтем тронул брючный карман — лежит ли там финка на всякий случай.

— Вижу, не по своей воле сидишь ты здесь, парень, — тихо сказал железнодорожник.

Яша похолодел, чуть щетки из рук не выронил:

«Провокатор!..» Надо улучшить момент, выхватить финку, пырнуть снизу в самое брюхо — и кубарем в заросли Куликова поля. Только бы засады не было... Неужели он один взять меня решил?!

— Кто тебя послал сюда, не спрашиваю, мне-то знать ни к чему, — еще тише продолжал седой. Вынул из кармана пустой прокуренный мундштук, пососал. — Только передай тем, кто тебя посадил, что из Бухареста в Одессу должен выйти спецпоезд, в классных вагонах — немецкие и румынские офицеры, полицейские чины, судьи, новые правители города едут...

Яша постучал щетками по ботинку, приглашая клиента смснить ногу. А если не провокатор? Если вправду кто из железнодорожников помочь хочет?.. А если полицейские подослали?.. Стараясь не выдать своего волнения, Яша безразлично, будто не слышал приглушенного голоса клиента, начал очищать от грязи второй, такой же разбитый, скрученный проволокой ботинок.

Мимо, нахлобучив суконную шапку на самые глаза, торопливо просеменил какой-то румынский чин в куцей шинелишке.

— Ты, чертенок, взялся, так драй на совесть, чтоб блестело... чтоб сияло, как... — заплетая языком, словно пьяный, рявкнул клиент. — Я с-сегодня г-гуляю... У меня, может, с-семейное торжество. Может, престольный праздник у меня... инди... индивиду... индивидуный праздник, может быть...

Он покачнулся и громко икнул. Но, как только румын скрылся за оградой привокзального скверика, снова глухим шепотом:

— Впереди пустой состав погонят. Запомнил?.. Приказано встречать с оркестром. Так, может, ваши встретят?..

Яша молчал.

— Ты вправду глухой? — рассердился железнодорожник. — Или не веришь мне?

— Откуда вы узнали о поезде? — не поднимая головы и не переставая работать щетками, тихо спросил Яша.

— Работаю слесарем-сантехником на вокзале. В кабине начальника отопление к зиме ремонтирую. Слышал, как начальник своему помощнику свежую депешу читал. Я сам с Молдавии, румынский малость знаю.

Надраив суконкой латанные-перелатанные ботинки до блеска ярого, Гордиенко лихо выстукал щетками четку, церемонно протянул руку:

— Две леи, пан клиент.

— Ты слышал, что я тебе сказал? — спросил седой.

— Две леи, пан клиент, — и вы меня не видели, я вашего пьяного бреда не слышал, — безразлично отрезал Яша и нахально протянул руку к самому лицу седого.

Лохматые брови насупились, потом вздрогнули и разгладились. Под ними тепло блеснули карие глаза. Седой распахнул дождевик, порылся в карманах.

— Да тут блеску-то на пол-леи, не больше.

Но у Яши не было охоты заводить лишний разговор — а вдруг действительно провокатор?.. Он резко поднялся со стульчика.

— Гоните две леи по таксе, а то попрошу господина полицейского. Тоже мне, пижон!

Седой ткнул Яшке какую-то бумажку

— Сдачи не надо! Знай Железняка, сегодня он гуляет!

— И будьте вы мне здоровы, господин клиент, — мило улыбнулся Яша, засовывая бумажку в карман. — «Одесский блеск»! Самый шикарнейший крем! Спешите,

господа, занять «Одесский блеск». На две леи блеска, на мильон удовольствия!

Широко расставляя ноги, шлепая надраенными и разбитыми в прах ботинками по лужам, клиент поплелся через площадь, бормоча что-то про Дуньку, которую он пришибет, если она не вздует огонь в честь его праздника.

7. Неожданное возвращение

Два раза в неделю, по средам и субботам — базарным дням, из катакомб приходил связной за информацией. Самому Яше разрешалось ходить в катакомбы только в случаях крайней необходимости. Из оставленных в городе разведчиков никто, кроме него, ни запасных ходов в катакомбы, ни пароля не знал. Связной был вчера вечером. Значит, ни сегодня, ни завтра он не придет. А то, что рассказал ему седой железнодорожник, Яша считал сведениями особо важными. По его мнению, это и был тот случай, когда надо было самому идти в катакомбы.

О своем намерении решил никому не говорить, кроме Алексея. На всякий случай прямо домой не пошел, а, попетляв по улицам, зашел к бывшему соученику Саше Чикову, который жил недалеко от них на Нежинской. Саша послал за Алексеем сестренку, Нинкину подружку.

— Есть важное дело. Пойду к Павлу, — не без хвастовства сказал Яша, когда остались с братом один на один.

— Ты его связной, тебе виднее, — холодно ответил Алексей. Ему было немного обидно, что не его, старшего, назначил Бадаев своим доверенным, а Яшу.

Даже командир городского подотряда Петр Иванович Бойко и тот с Бадаевым только через Яшу связь держит, через него и задания получает. Конечно, это только ради конспирации. Но Алексей рад был бы заслужить такое доверие чекиста Бадаева.

— Ладно уж, не завидуй, — подмигнул брату Яша. — Ночевать буду там. Забери рундук домой да скажи, чтобы не волновались, у дружков, дескать, за ночую.

Но Яша в катакомбах не почевал. Перед рассветом он потихоньку постучал в окно. Алексей тотчас вскочил, боясь, как бы не проснулась Нина. Возвращению брата очень удивился: Бадаев категорически запретил партизанам без особой нужды ходить по городу после комендантского часа.

— Что случилось?

— Промашку дал, — хмуро ответил Яша.

Он еле держался на ногах от усталости. До Нерубайского двенадцать километров, да по катакомбам километра четыре-пять до штаба отряда. Это в два конца Яше километров тридцать отмахать пришлось...

— Какую промашку?

— Очень даже простую, — прилег Яша не раздеваясь на кровать рядом с Алексеем. — Вначале Бадаев обрадовался, даже поцеловал меня. Вот честное комсомольское, поцеловал! А потом спрашивает: «Ну и что же дальше, капитан Хива?» — «Как, что дальше? — говорю. — Взорвать этот поезд-люкс надо!» А он так похлопал меня по плечу — дурачок, мол, ты, дурачок, Яша, даром мы тебя и в катакомбы не взяли. «Что же, — говорит, — прикажешь нам всю железную дорогу от Бухареста до Одессы взрывать? Ведь угадать тот поезд-люкс среди других поездов все равно что голыми руками зайца в степи поймать. Было бы у нас, — говорит, — расписание того поезда-люкса, чтобы мы зна-

ли, в какой час через какую станцию он идет, ну, к примеру, хотя бы через Заставу, мы бы его, — говорит, — в воздух подняли. А так, — говорит, — твое до-несение я-то в Москву передам для сведения, но практически использовать его не можем...» Ты же понимаешь, Леша, не могут они! И все это из-за меня! — чуть не плача, закончил Яша.

— И что дальше?

— Ну и отпросился я обратно в город. Сказал, что либо я то расписание доставлю командиру, либо дух из меня вон! Он, правда, не отпустил меня, но ты же, Леша, меня знаешь...

— Знаю: лопни, но держи фасон!

— В общем, выпросился я на волю... А хотелось побыть там хоть одну ночь. Интересно под землей...

— Что же ты сразу не узнал, когда поезд приходит?

— Вот и Бадаев меня об этом спрашивал.

— Ну?

— Так не знал же тот Железняк этого!

— Какой Железняк?

— Да, этот же, который на вокзале сантехником...— Яша рассказал Алексею о необычном клиенте, сообщившем ему о спецпоезде.

— Расписание же это наверняка секретное. Как же ты его добудешь, Яшко? — приподнялся Алексей на локте.

— Это уже моя забота, братишка.

— Не твоя, а наша, — поправил его Алексей. — Наша это забота, общая. И что тебя Бадаев старшим назначил — не заносись. Если я тебе помогу, он меня тоже не заругает.

— Чем же ты поможешь, Леша? — безнадежно вздохнул Яша.

— А хотя бы тем, что я твоего сантехника Железня-ка знаю: вместе с его сыном Аркадием на ювелирную

фабрику учениками поступали. Аркаша сейчас в армии, а отец, видишь ли... Молодец старик, ищет дорогу к подпольщикам. Вот мы пойдем к нему и вместе помаракуем.

— Ох ты-ы, — тихонько вскрикнул Яша. — А я-то голову себе ломал, как теперь найти того Железняка!

— Тише, Нину разбудишь, — шикнул на него Алексей. И, немного помолчав, снова спросил шепотом: — А добудешь расписание, как опять же в катакомбы его доставишь? Как выйдешь из города после комендантского часа? Тем более тревога может подняться. Сейчас ты тоже рисковал собою, а если попадешься с расписанием?

— То уже моего ума дело, — снова заносчиво ответил Яша, но, заметив, что брат обиделся, прильнул к Лешкиному уху, зашептал: — Есть у меня верный человек, в полиции работает. На днях показывал мне ночной пропуск... Понял?

Алексей даже тихонько присвистнул от удивления:

— Ох ты и кадр, Яшко! Если не врешь, так... Ну ты и ну!.. Что же это за человек такой?

— Я же тебя про твою десятку не спрашиваю, братишка, — засмеялся в подушку Яша. — Не спрашивай и ты про моих людей. Инструкцию Павла небось знаешь...

— Ладно, — смирился Алексей. — Раздевайсь, отдохни малость, герой.

— А раздеваться мне, Лешенька, недосуг, — деловито возразил Яша. — Так маленько полежу возле тебя. Спать некогда, как только светать начнет, пойду. Надо мне того человека дома застать, пока он в свою полицию не ушел... Я — к нему, а ты — к Железнику. Добро?

8. Выстрелы в полночь

С утра у директора вокзала Бреда первы были звиничены — пришлось-таки крупно поговорить с этим ничтожеством Андрецою. А это никак не входило в его планы. Андрецою — кумнат, свояк того самого полковника Стенеску, под началом которого служит сын Бреды. Одно слово полковника Стенеску, и бедный Адам Бреда окажется на фронте. Но директор Бреда больше терпеть не мог. Это же свинство — на целую неделю затянуть ремонт директорского кабинета. Разобрали отопительную систему, развинтили, натворили черт знает что и бросили — у какого-то сантехника, видите ли, сегодня день ангела! И какое его, Бреды, дело до того, что какие-то калориферы протекают. Это его, Андрецою, забста, на то он и помощник директора по хозяйственной части. Что, в Одессе мало калориферов? Сними в любом доме, если на то пошло! Все равно в эту зиму жилые дома, пожалуй, отапливаться не будут, если в них не расквартированы офицеры армии его величества короля Михая.

— Кине саколо? Ну что там еще? — недовольно рявкнул директор Бреда на стук в дверь, прервавший его размышления.

— Буне сяре, домнул директор! Добрый вечер, господин директор, — вошел сантехник Железняк. — Приказано к утру закончить сборку отопительной системы в вашем кабинете.

— Наконец-то! — обрадовался директор Бреда. Все-таки нагоняй Андрецою дал свои результаты. Конечно, Андрецою надулся и сам к нему не зайдет, послал это быдло. Ну, ничего, завтра они разопьют бутылочку рому и помирятся. — Только я не думаю здесь ночевать, свое дело закончишь к двенадцати часам

почи, ни секунды больше. Иначе я научу тебя работать!

— Буду стараться, господин директор! — снял спящую фуражку Железняк.

— А это что с тобой за кретин? — показал директор Бреда на крепыша, вошедшего следом за Железным.

— Это пан помощник директора назначили мне нового подсобника, тот совсем дохлый был, пан директор, не мог даже трубу придержать. Сними шапку, негодник, когда с тобой разговаривает сам пан директор вокзала, — бесцеремонно ткнул кулаком подсобника Железняк.

Подсобник торопливо снял рыжую кубанку, нерешительно поднял на пана директора испуганные глаза.

— Такой бестолковый, пан директор, такой бестолковый, что его и убить мало, — продолжал Железняк.

Директор вокзала самодовольно погладил свой досиный выбритый подбородок.

— Если он будет плохо работать, я велю выдрать его палкой. Батай, батай буду!

— Вполне достойно, пан директор, вполне достойно.

— А сейчас делайте свое дело и не мешайте мне. Да запомните: к двенадцати часам закончить работу и чтобы духу вашего здесь не было. Гай ла касе, — угрожающе нахмурил брови Бреда.

— Слушаюсь, пан директор: чтобы духу вашего здесь не было.

Директор Бреда недостаточно знал русский язык для того, чтобы по достоинству оценить ответы сантехника Железняка. Но ему очень по душе пришлись его почтительный тон, его готовность сделать работу к сроку. «Виляет хвостом, словно пес, — подумал директор. — Це бине, это хорошо! Это от страха — дай ему кусочек сахара, так он руки тебе лизать начнет». Директор Бреда даже порозовел лицом от переполнившего

го его чувства превосходства перед всеми этими сантехниками и их подсобниками, всеми этими туземцами. Он, как все коротыши и посредственности, страдал чрезмерным честолюбием. А что касается глуповатого паренька, то директор Бреда не склонен был удостаивать вниманием каждого русского ублюдка.

Железняк и его подсобник с трудом втащили в кабинет три большие секции калориферов. Самую большую — на восемнадцать звеньев — занесли за директорский стол: пану директору зимой должно быть тепло, как в печке. Две начали прилаживать в нишах под окнами.

— Тут, как в проходной, все время люди, — прошептал подсобник, когда директор увлекся разговором с очередным посетителем. — Так мы расписание не доведем.

— Не спеши, Яша, — так же тихо ответил ему Железняк. — Вечером людей будет поменьше. Только ты не пялься глазищами на директорский стол. Расписание никуда от нас не уйдет, оно в той зеленой папке, что лежит у директора слева.

Действительно, чем ближе к вечеру, тем все реже и реже заходили посетители. Железняк и Яша безмолвно возились у своих труб. Директор Бреда нажал кнопку, вмонтированную в крышку стола. Вошел румын-охранник в темно-желтом солдатском обмундировании. Бреда что-то сказал ему по-румынски, показывая на Железняка и его подсобника, и вышел. Охранник уселся на табуретке у самой двери, положил карабин на колени, вынул кисет, свернул толстую сигарку и молча задымил.

— Вот истукан! — зло буркнул Гордиенко. — Как же отвлечь его внимание?

— Цсс, — зашипел на него Железняк. — Не болтай. Вдруг он знает по-русски.

Воцарилась тревожная тишина, нарушаемая только

звяканьем железа. Яша нервничал: уже девятый час вечера, а возможности похитить расписание с директорского стола — никакой! Железняк заметил это, шепотом успокоил:

— Теперь до двенадцати поездов не будет. На вокзале останутся только дежурные да охрана...

Вернулся директор Бреда. Ковыряя спичкой в зубах и сыто дыкая, он на ходу махнул рукой охраннику: гайла хары! Тот зевнул, потянулся и вышел. Директор молча понаблюдал за работой Железняка и Яши (они уже монтировали последнюю секцию за директорским столом), что-то пробубнил себе под нос и уселся в кресле поудобнее, щелкнул портсигаром, закурил.

Сытный ужин и несколько рюмок рома хорошо успокаивают нервы. Андрецою, оказывается, не затаил на него зла и за ужином был любезен, как всегда, вовремя наполнял рюмки. Ремонт сегодня будет закончен, а послезавтра приехавшие в поезде-люкс высшие чиновники Транснистрии увидят директора Бреду в его кабинете, может быть, единственном в Одессе кабинете, отвечающем требованиям лучшего вкуса, и сразу поймут, что Бреда — ого, не такой уж простачок, с ним стоит иметь дело!.. Директор Бреда даже губами почмокал, засыпая и роняя недокуренную папиросу на стол...

Железняк взял в руки увесистый разводной ключ, встал сзади директорского кресла и подмигнул Яше. Тот бесшумно, как кошка, подскочил к зеленой папке, рывком раскрыл ее. В ней лежало всего два отпечатанных на машинке листочка — два экземпляра секретного расписания поездов. Между ними — синяя копия: видно, машинистка согласно правил секретного делопроизводства сдала директору Бреду всю закладку. Яша хотел забрать всю папку, но Железняк шепнул:

— Бери только копиру.

Он все время держал над затылком Бреда разводной ключ, на случай, если тот не вовремя проснется.

— Почему только копирку? — спросил Яша, когда снова начали возиться у калорифера.

— Копирку он просто забыл уничтожить. Ее не хватает. А если обнаружит пропажу расписания, поднимет хай, сообщит по линии, расписание изменят.

— Трахнули бы его ключом по башке.

— Нельзя. Все дело погубим...

...В полночь Яша, показав охраннику ночной пропуск, выданный на имя сотрудника полицейского управления Николая Бакова, торопливо вышел в тревожно спавший город. Шел ранний, первый в этом году снег. Он падал густыми мокрыми хлопьями. Темень будто вздрагивала, словно перед глазами колыхался серый занавес. На мостовую ложился тонкий белый ковер, он приглушал уличный шум.

Может, скоро поезд-люкс будет на подходе к Одессе, соображал Яша. Надо как можно быстрее добраться в Нерубайское. Там у хаты деда Помилуковского уже ждут связные Бадаева. Некогда тащить расписание через запасные ходы, проложенные за несколько километров от штаба. Расписание просто положат в ведро и опустят в колодец. На глубине семи метров в стенке колодца есть незаметная сверху ниша, соединенная с секретной штольней, в которой дежурит партизан. Он перехватит ведро, вынет пакет, и пусть себе дед Помилуковский набирает воду, а расписание через пять минут будет у Бадаева... Только быстрее, быстрее надо в Нерубайское!

Яша миновал привокзальную площадь и, несмотря на темень и снег, сразу же заметил на противоположной стороне улицы патруль. Прятаться было поздно. Единственный выход: спокойно и смело идти вперед,

авось его не заметят. А если заметят, придется снова пускать в ход Фимкин документ.

Но его заметили.

— Эй, парень! — окликнули его по-русски. — Топай сюда, господа патрульные почным пропуском интересуются.

Случилось самое худшее. Его заметил комбинированный патруль, в который, кроме румынских солдат, входил и полицейский из местных предателей. Эта гадина могла узнать в лицо Яшу или, того хуже, знать по полицейскому участку Николая Бакова, на имя которого выдан документ. Нет, к такому патрулю лучше не попадаться — сам погибнешь и Фимку завалишь. Как назло, снег прекратился, сквозь поредевшую пелену туч пробился жиденький свет луны. Яша быстро окинул взглядом улицу. До угла Ришельевской было шагов семьдесят: если быстро побежать, можно скрыться за углом раньше, чем патрульные успеют снять с плеч автоматы и дать очередь.

— Стой! Стой, стой! — Послышалась русская и румынская ругань. Автоматная очередь распорол тишину ночи.

Пробежав метров сто, Яша на секунду остановился возле парадной двери старенького двухэтажного дома, уныло тянувшегося по меньшей мере на полквартала. Здесь когда-то жила вдовая тетка Миши Куртича, друзья частенько собирались в ее просторной комнате, чтобы вместе готовить уроки. Миша никогда не заставлял тетку спускаться со второго этажа открывать дверь. Он вставлял в щель под отставшей филенкой лезвие перочинного ножа и ловко отодвигал задвижку. Пока Яша доставал нож из брючного кармана и шарил в темноте лезвием, отыскивая щель, патруль уже выскочил из-за угла. Яша еле успел захлопнуть за собой дверь, как раздалась автоматная очередь и по двери

чиркнуло несколько пуль. Он закрыл дверь на железную задвижку и одним махом взлетел на площадку второго этажа. Двери всех квартир оказались закрытыми, а внизу в парадную уже грохали тяжелые приклады. Дом проснулся, в квартирах слышались растерянные голоса, их перекрыл истошный женский вопль, залился душераздирающим плачем младенцев.

Яша вспомнил: в конце коридора был люк на чердак, где хозяйки сушили белье. Там всегда торчала деревянная приставная лестница. Спотыкаясь в темноте о брошенную в беспорядке домашнюю рухлядь, Яша побежал по коридору. Лесенка оказалась на месте. Яша выбрался на чердак, втащил за собой лесенку и привалил ею деревянную крышку люка.

Он шел, спотыкаясь о ящики, натываясь лицом на натянутые бельевые веревки, бормоча ругательства, шаря в воздухе руками. Чердак был бесконечный, и он уже отчаялся выбраться, когда холодный ветер хлестнул его по лицу и Яша заметил рядом серое в темноте слуховое окно. Он выбрался на крышу и чуть было не соскользнул по заснеженной черепице вниз, но уперся ногами в желоб. Было темно и тихо — Яше показалось, что к ушам приложили морские раковины, в них стоял непрерывный и ровный шум моря. Он лежал неподвижно, пока не почувствовал, что снова пошел снег, снежинки лижут ему лицо, а руки заоченели. Яша потрогал кофиле в кармане пиджака и вздохнул: надо как можно скорее добраться в Нерубайское. Он осторожно выдвинул правую ногу за желоб. Пустота. Взглянуть вниз он не решился. Нашупал водосточную трубу. Нашел ногой закраину. Скользнул вниз. Очутившись на земле, замер, всматриваясь в темноту и прислушиваясь к ночи. Белые бинты снега на строениях помогли ему рассмотреть полуразвалившуюся стенку забора. Перемахнув через нее, он оказался во втором

просторном дворе с верандами, с беседками, обвитыми голыми лозами винограда.

На Малой Арнаутской Яша снова оглянулся, прислушался. С Ришельевской доносились тревожные свистки, глухой шум. «Наверное, там патрули в квартирах все вверх дном поднимают, — подумал Яша. — А мне бы вот только эти несколько кварталов проскочить — и поминай как звали». За Нежинской до самой Слободки каждый проходной двор, каждая подворотня были ему знакомы, как страницы учебника геометрии. Он свернул на Екатерининскую, потом на Базарную. Он крался от дома к дому, прижимаясь к подворотням, стараясь, чтобы снег не скрипел под ногами.

Перейдя темный, заросший колючими акациями Александровский проспект, Яша внезапно встал как вкопанный, затаил дыхание, прислушался. Кто-то сзади шлепал по мокрому снегу. Яша пригнулся, пристально всмотрелся туда, в темноту. Крадучись от угла к углу, прячась за деревьями, перебегая от одного к другому, двигалась какая-то тень. «Слежка! — сообразил он. — Так, чего доброго, хвост притащу в Нерубайское...» Но свернуть Яше уже было некуда — по сторонам, до самой Преображенской, сплошными стенами угрюмо громоздились наглухо закрытые дома. Яша знал, что многие не спят за этими стенами. Даже лежа в кроватях и смежив веки, люди не забывали о войне и оккупации. Те, которые успели выползти на белый свет при «новом режиме» и занялись спекуляцией или пошли к оккупантам на службу, мучились мыслями о том, что судьба еще может повернуться по-разному, что их благоденствие может оказаться кратковременным и красные, чего доброго, вернутся в Одессу. Другие барахтались в своих сновидениях, как бычки среди морских зарослей, где их каждую секунду подстерегали то рыболовный крючок, то прожорливый хищник. Были и та-

кие, что лежали с открытыми глазами, стерегли малейший звук, сжимали кулаки, готовились к бою... Но ни к тем, ни к другим, ни к третьим Яша не мог сейчас постучаться и попросить о помощи: не скажешь же первому открывшему тебе дверь, что ты спешишь в катакомбы, что синяя, покрытая бледным узором лицевых отпечатков кофирка должна быть немедленно доставлена Бадаеву.

Яша прибавил шаг. Преследователь тоже понял, что Яше деться некуда и пошел открыто и быстро, гулко печата шаг по тротуару. Когда Яша пересекал Преображенскую, шпик скомандовал:

— Стой!

А когда Яша, ничего не ответив, бросился бежать, он что-то закричал по-румынски.

Из укрытия у собора, что возвышался чуть в стороне от перекрестка, на перехват Яше выскочили двое и тоже закричали:

— Стой!

— Хальт!

В ночной тишине гулко зацокали кованые каблуки.

Яша уже проскочил Преображенскую. Если удастся пробежать метров триста по Базарной, там очень темно, там до Нежинской рукой подать...

Он мчался, подгоняемый злобными окриками. Они не стреляли, очевидно решив взять его живым. «Ну, дулю с маком! — подумал Яша. — Уж бегать-то я умею лучше вас!» Вдруг в конце улицы показалось что-то темное. Яша даже остановился от неожиданности: навстречу ему шли трое. Конечно же, патруль. Патруль, несущий ему смерть. А может, этот патруль еще не заметил его? Яша кинулся в подворотню, надеясь снова улизнуть проходными дворами. С разбегу всем телом ударил в ворота, Заперты. Деваться некуда, все равно

поймают. Надо во что бы то ни стало уничтожить удостоверение Бакова! Иначе пропал Фимка!

Яша кинулся в соседнюю подворотню, на бегу разрывая бумажку. Сперва хотел разбросать кусочки бумаги по улице, но потом решительно высыпал их себе в рот. Во рту пересохло от волнения, бумага не лезла в глотку. Сзади все ближе стучали сапоги, а те, что шли навстречу, тоже заметили Яшу и побежали к нему. «Еще надо уничтожить копірку», — решил Яша. Второпях он никак не мог попасть рукой во внутренний карман.

Вдруг передний из бежавших навстречу крикнул:

— Беги, Яшко! Мы их задержим! — и, выставив вперед руку, выстрелил.

Пуля прожужжала над головой. Преследователи разом остановились. Яша подбежал к стрелявшему и узнал брата.

— Беги! — снова крикнул Алексей и, еще раз выстрелив, кинулся с середины улицы к одинокостоявшей акации. Те, что бежали с ним, тоже метнулись в стороны.

Яша понял: Алексей со своей группой шел ему навстречу. Он рванулся и побежал, стараясь держаться поближе к домам, потом свернул направо, потом налево. Усталости как не было. Он словно летел по воздуху. А сзади, отдаваясь эхом в пустынных улицах, хлопали пистолетные выстрелы и сухо трещали автоматные очереди.

9. В катакомбах

Как ни просился Яша остаться в катакомбах, Бадаев не разрешил. Даже не позволил принять участие в нападении на поезд-люкс.

— Этим займется подрывная группа, — нарочито спокойно, рассматривая собственные ладони, сказал Владимир Александрович.

Взрывать поезд-люкс на перегоне между станциями Дачная и Застава было поручено командиру первого отделения Ивану Ивановичу Иванову. Бывший судовой механик, он в начале войны прошел специальные курсы подрывников, и теперь катакомбисты в шутку звали его флагманским минером. С ним шли парторг отряда, бывший председатель колхоза Константин Зелинский, хорошо знавший местность, и связанная Тамара Большая.

— Я не хуже Тамары могу... — запальчиво начал было Яша, но Бадаев недовольно прищурил глаза, и Яша сразу сбавил тон.

Командиру нравился этот горячий, самонадеянный паренек, для которого весь мир казался ярче и острее на вкус, чем для взрослых, и которому не терпелось все попробовать, везде успеть. Чем-то Яша напоминал Бадаеву его юность. Забойщик подмосковной шахты Вовка Молодцов (свою настоящую фамилию, Молодцов, капитан мог произносить только мысленно, будто оставил ее вместе со старым удостоверением там, в Москве) тоже был таким напористым и дошлым. Вовке Молодцову тоже хотелось всегда быть впереди, там, где труднее. Даже стихи писал в ту пору:

Я сегодня иду в забой,
Я сегодня иду, как в бой...

Что ж, характеры, как и алмазы: формируются только при высоких температурах и сверхмощном давлении. Потому, видно, юность всегда и рвется навстречу трудностям... Вот и Яша будто испытывает сам себя на прочность: вишь, весло по руке просит! Ну что ж, некоторые основания для самоуверенного убеждения «Я всё могу!» у него есть, даже самому Бадаеву не верилось, что можно добыть секретное расписание движе-

ния поезда-люкс, а Яша добыл, вот оно, расписание, на столе! И то, что парень хочет сам подрывать поезд и видеть результаты своей работы, Бадаеву тоже понятно: рвется к подвигу... Но подвиги не все одинаковы. Есть подвиг-порыв, когда напряжение всех душевных и физических сил нужно на одно мгновение — вспыхнул и сгорел у всех на виду. И есть подвиг, требующий напряжения этих сил в течение долгих месяцев, а может быть, и лет. На долю чекиста-разведчика приходится самый тяжелый подвиг: быть героем, оставаясь незаметным; делать опасное дело, не ведая прямых результатов своей работы (где-то, кто-то использует твои донесения для эффектного удара по врагу); иметь силы скрывать свои чувства и мысли даже от друзей; иметь смелость вынести гнев и презрение честного патриота, считающего тебя предателем... и, если надо, иметь мужество умереть страшной смертью, не выдав даже своего имени...

Бадаев наклонился к сидевшему рядом Яше, обнял его за шею, ласково потрепал по плечу:

— Потерпи, Яшко, нагуляешь еще тем веслом мозоли на руках. Я знаю: то, что сможет сделать Тамара, ты всяко сделаешь. Но кто сможет сделать то, что сможет Яшко Гордиенко? Ты же себе, вернее — той работе, которую делаешь, цены не знаешь. Смотри: сообщил об офицерском собрании на Маразлиевской — полторы сотни тех офицеров да еще два генерала с ними взлетели в воздух вместе со зданием комендатуры; добыл расписание — и полетит сегодня полтысячи фашистских чиновников под откос... А твое сообщение о складе горючего у спиртзавода?

— Да нет уже того склада, — с досадой отмахнулся Яша. — Мы только доложили, как самолеты разнесли тот склад в дым и прах, только горелые бочки валяются. Сам видел. Тут нашей заслуги никакой.

— Э-э, ми-илый! — смеясь, протянул Бадаев. — Ви-

дать, придется мне некоторые карты открыть перед тобой.

Бадаев поднялся с каменной скамьи, подошел к нише, зашторенной влажной клеенкой, отодвинул шторку. При тусклом и зыбком свете керосинового фонаря Яша увидел в нише несколько телефонных аппаратов. Бадаев снял трубку с одного из них, велел кому-то принести последние радиограммы.

Яша с явным восхищением следил за каждым движением командира. Был Владимир Александрович так же легок и подтянут, как и тогда, в первый день их знакомства. Хорошо подогнанный ватник, затянутый командирскими ремнями, и темно-синие галифе, заправленные в усердно начищенные сапоги, придавали ему молодежавший вид, а на чисто выбритом открытом лице и высоком, слегка выпуклом лбу даже сохранился легкий налет загара — словно и не жил этот железный человек вместе с другими партизанами в сырых, лишенных солнечного света катакомбах.

«Вот такими и были, наверное, все герои — и Дзержинский, и Щорс, и Котовский, и все-все, о ком приходилось читать или слышать от бати, — подумал Яша и невольно одернул на себе старенький пиджачок, поправил кубанку на голове, с досадой посмотрел на свои забрызганные грязью ботинки. — Ах, черт, надо было их вытереть хотя бы, прежде чем явиться к командиру! Еще подумает Владимир Александрович, что я неряха какой!»

Ему очень хотелось быть во всем похожим на Бадаева.

Когда принесли папку с радиограммами, Бадаев взял одну из них, протянул Яше:

— Читай. Это мы передали в центр через полтора часа после того, как связной принес твое донесение. Раньше не могли — выносить рацию на поверхность

становится все труднее, за ней охотятся и радиопеленгаторы, и специально оборудованные автомашины, и снайперы, и шпионы, и немецкая разведка.

В тексте радиодонесения Яша узнал свое описание склада горючего близ спиртзавода. А дальше шли слова, добавленные Бадаевым. «На две ближайшие ночи устанавливаем дежурство наших людей. Для наводки самолетов предлагаем сигнальные ракеты с двух сторон в направлении указанного объекта — красная, зеленая, зеленая».

— А это мы получили из центра сегодня, — подал Бадаев новую бумажку.

«Передайте разведчикам благодарность за склад горючего, — прочитал Яша. — Сообщите результаты работы нашей авиации».

— У-ух ты! — не удержался он. — Так, значит...

— Это твоя работа, Яшко.

— Нет... Эти сведения добыл Шурик Хорошенко. Это его работа.

— Твоя группа. Ты теперь понимаешь, как важны ваши донесения для нас... и для Москвы?

— Ясно, товарищ капитан! — по-военному вытянулся Яша. — Теперь мы им, жабам, дадим жару... Что ж, мне опять к вокзалу?

— Нет. Тебе на улицах теперь появляться без особой нужды нельзя. Ты, командир комсомольской группы разведчиков, должен беречь себя. Иди, Яшко, домой.

— Домой?

— Да, домой. Сегодня в вашем дворе будет открыта слесарная мастерская Петра Бойко.

— А мастерская тоже вроде рундучка чистильщика — для блезиру?

Бадаев молча кивнул головой.

— На нашей Нежинской как будто и наблюдать не за чем и не за кем.

— Наблюдать будете за всем городом. А мастерская нужна для того, чтобы люди к вам могли заходить, не вызывая подозрений полиции и гестапо. Понял? Будете чинить примусы. Разведка кто-нибудь из ребят новый штаб или узнал о намерениях фашистов, о настроениях в городе — где он тебя искать будет? В мастерской. Там и новое задание от тебя получит. А к тебе будет приходить наш связной, забирать сведения и оставлять листовки, сводки Совинформбюро, передавать мои задания. Ребята подобрал надежных? Вот и хорошо! Надо так поставить дело, чтобы весь город у твоих разведчиков был как на ладони, чтобы мы здесь, в катакомбах, и там, в Москве, обо всем знали вовремя, тогда мы заставим фашистов носом землю рыть. Понял? Ну и примусы будете чинить для блезиру, как ты говоришь.

— Но ни я, ни Петр Бойко в слесарном деле ни в зуб ногою.

— Бойко — хозяин мастерской, к ремонту ему руки прикладывать незачем. У него, как командира городского подотряда, своих дел невпроворот. А в мастерской будет заворачивать делами твой брат Алексей.

— О, Лешка сможет! Его на ювелирной фабрике хвалили: золотые руки, говорили. Вот как!

— Знаю, — хитро подмигнул Бадаев. — Ты будешь числиться его помощником, но имей в виду: насчет разведки с тебя весь спрос.

— Не подведем, Владимир Александрович! Ребята у меня что надо! — вспыхнул Яша, польщенный доверием командира.

— Тоже знаю. Вот только вам бы пару крепких слесарей подобрать в мастерскую, надежных ребят.

— Есть такие, — сразу вспомнил Гордиенко, — Шурик Хорошенко.

— Это который о складе горючего сообщил?

— Точно! Шурик слесарем на заводе работал, а си-

лица в нем — во! — Яша растопырил руки, показывая, какие могучие плечи и грудь у Шурика.

Бадаев улыбнулся.

— Ну что ж, видно, хороший парень.

— И еще Сашу Чикова надо взять.

— Тоже слесарем работал?

— Нет, — почесал затылок Яша. — Работать не работал, но такой смекалистый до техники — ужас! В школьных мастерских все делал. Он сразу сообразит, что к чему, если Лешка покажет. А насчет надежности — будьте уверены, штормовой хлопец.

— Ну вот и хорошо, — снова поднялся с каменной скамейки Бадаев. — Вот мы с тобой и выбрали кадры. А теперь пойдем в клуб, наших ребят посмотришь.

— В клуб? — удивился Яша.

— Да, в клуб. У нас тут все есть — и клуб, и библиотека. Твой тезка Яков Федорович Васин обещает даже киноаппарат у румын добыть. Вот только фильмов своих, советских, мы не припасли, а фашистского добра этого нам не надо. Обосновываемся, Яша, надолго. Воевать будем всерьез.

Владимир Александрович убрал со стола карту, взял в углу фонарь «Летучая мышь» и зажег его, а тот, что стоял на столе, прикрутил так, чтобы только не погас фитилек. Все это он делал молча, четкими, привычными движениями. Когда вышли из штабной пещеры, Бадаев сказал в темноту:

— Мы пошли, Федор.

И, к удивлению Яши, темнота ответила совсем рядом:

— Хорошо, товарищ командир. Будете в клубе?

— Да.

— Константин Николаевич с группой уже там.

Только теперь Яша сообразил, почему партизан, который провожал его от входа в катакомбы до самой штабной пещеры, в некоторых местах останавливался,

делал замысловатые движения фонарем, будто подавал знаки кому-то: в известных партизанам местах находились дежурные, и сигналы фонарем служили паролем-пропуском идущим в темных катакомбах.

Бадаев шел впереди, освещая фонарем неровный потолок, вытесанные уступами в темно-сером ракушечнике стены узкой штольни. Яша шел следом. Сперва слышен был только хруст щебня под ногами, шорох осыпающейся с потолка каменной крошки да неясный гул впереди. Потом Яша начал различать обрывки музыки, неясные, будто отраженные эхом голоса, которые слышались все громче и громче. За одним из поворотов перед Яшей неожиданно открылся просторный подземный зал. В центре зала, тускло освещенного такими же, как у Бадаева, фонарями, на плоской каменной глыбе стоял патефон, а вокруг кружились в вальсе несколько пар. При появлении Бадаева кто-то выключил патефон, и пары разошлись к стенам.

— Продолжайте, ребята, время еще есть, — сказал Бадаев, поздоровавшись. — Знакомься, Яша, — подтолкнул он Гордиенко к щупленькому бойцу в ушанке и длинном пальто, оказавшемуся к ним ближе других.

— Яшко, — протянул руку Гордиенко.

— Тамара Меньшая, — озорно сверкнули ему в ответ угольно-черные глаза из-под ушанки.

— Девчонка, что ли? — удивился Яша.

Тамара засмеялась, и ее звонкий, как у Лены, смех, показался Яше каким-то чужим, неуместным в этом темном и сыром мире. Чужим и в то же время знакомым. Где-то уже слышал Яша этот голос. И глаза видел. Где? Когда?

— Весело сегодня в клубе? — спросил Бадаев Тамару. — Это хорошо.

— Весело. Вы бы послушали, как отрядный минер только что пел «Раскинулось море», — за сердце берет.

— Иван Иванович? Этот может!

— Да, Ваня Иванович. Вон он, рядом с баянистом, прихлопывает в такт музыке, того и гляди в пляс пустится. Ему через несколько минут на задание идти.

— Да... У Ивана Ивановича флотский характер... Только... — по лицу Бадаева словно мимолетная тень прошла. — Только не все, Тамарочка, веселы... Посмотри на Галину.

— Это верно, Галочка Марцишек сегодня не в форме, — согласилась Тамара. — Переживает за мужа.

— И за мужа и за себя. Иван Иванович идет на задание — она тревожится. А мне все утро покоя не давала, просилась на связь. Я бы ее послал, но, честно, некого на хозяйстве оставить. Ведь из наших продуктов приготовить что-нибудь съедобное не каждый сумеет... Однако надо ее отвлечь от грустных мыслей. Позовите ее к себе, Тамара.

— Она не пойдет, Владимир Александрович. Повздорили мы вчера...

— Ну вот! Нам еще этого не хватало! — строго сказал Бадаев. — Небось из-за какого-нибудь пустяка?

— Вы угадали, — покраснела Тамара.

— Как вам не стыдно, Тамара. Вы же... Неужели не понимаете! — И, не ожидая ответа, Бадаев повернулся к стоявшему рядом партизану: — Женя, попросите ко мне Галину Павловну.

Цокая по камню подковками аккуратных сапожек, подошла молодая женщина в красной косынке и синем костюме, в отворотах которого светлела простенькая кофточка с наивными голубыми крапинками. И светлые кудряшки, забавно вздрагивающие при каждом движении головы, и нежные ямочки на мраморно-белых щеках, и вся ее трогательная хрупкость показались Яше чем-то удивительно мирным, домашним, кричаще несо-

ответствующим хмурому подземелью, как не соответствовали ему патефонная музыка и танцы.

— Вот Тамара так расхваливает ваши картофельные котлеты, что мне, право, захотелось снова их попробовать, — встретил ее улыбкой Бадаев. — Говорит, что такого вкусного блюда она и в столовой санатория Дзержинского не пробовала.

— Ну что вы, Владимир Александрович, — смущенно потупила глаза Марцишек. — Зря шутите.

— Да не я, не я хвалю, а вот Тамара. А она, знаете, какой ценитель!

— Правда, Галочка, ты готовишь чудо как вкусно, — как-то открыто и ясно улыбнулась Тамара, будто и не было между ними никакой размолвки.

Марцишек ответила ей такой же теплой, благодарной улыбкой и вдруг прижалась щекой к грубому сукну ее пальто:

— Ах, Томка, Томка! Думаешь, я не знаю, что вы здесь с Владимиром Александровичем говорили обо мне и жалели меня? Ну не могу совладать с собой, когда Ваня уходит... Лучше бы я... Не надо, не надо меня жалеть...

— Ну что вы, Галина Павловна, — тронул ее за плечо Бадаев. — Полноте, кто вас жалеет! Вот возьму и пошлю на связь с рыбаками Большого Фонтана. Прикажу одеться нищенкой, выпачкать лицо сажей...

— Правда? — обрадовалась Марцишек. И наворачнувшие было на глаза слезы сверкнули на ресницах, как капельки веселого апрельского дождя.

— Правда. Вот вернется Иван Иванович, утром вместе обдумаем и решим. А сейчас я вас вот зачем позвал: чем кормить людей будем? Ведь проголодался народ. Что там у нас на ужин?

— Винегрет. Из кислой капусты и огурцов.

— С картошечкой?

— Картошечка... сгнила... Завтра на борщ еле-еле.
— И опять без луку?
— Без луку.
— А масло? Подсолнечное?
— По десять граммов на человека Васин выдал. Беречь, говорит, надо. —

— Ах он жаднюга! Ах скупердяй! А ну-ка пойдем к нему. Пойдем выпросим лучку, картошечки. Ну какой же винегрет без картошки!

— А я тебя знаю, — опять тихонько смеясь, сказала Тамара, когда Бадаев и Марцишек ушли искать Васи-на. — Ты — Яшко Гордиенко. О тебе только и разговору сейчас в катакомбах. Говорят, какой-то план принес, закрылись в штабе с командиром, никого не пускают к вам. Правда?

Яша смутился, не знал, что ответить своей словоохотливой собеседнице. Но в это время опять заиграл патефон, в угрюмом подземелье послышался звук, напоминающий скрежет камней, потом мощным аккордом ворвалась музыка. Партизаны собрались в центре зала. Послышались возгласы:

— Тамара! Лезгинку!

— Где Тамара?!

— Это вас зовут? — робко спросил Яша, так и не ответив на ее вопрос.

— Нет, — тихо и, как показалось Яше, с сожалением вздохнула Тамара Меньшая.

Круг партизан раздался. На середину вышла тонкая в талии, высокая женщина. Одним движением руки она сбросила на руки соседа пальто, лихо топнула каблучком высокого полуботинка и замерла — в прищуре больших черных глаз горел лукавый, задорный огонек. Человек, принявший от нее пальто, сдвинул головку патефона, и пластинка начала мелодию сначала. В такт музыке партизаны легонько хлопали в ладоши, и женщина,

подняв левую руку на уровень груди, будто поплыла по воздуху. Хлопки становились все громче, все энергичнее и все выразительнее трепетало сильное молодое тело под бордовым шерстяным платьем, все заметнее вздрагивали вишневые, чуть припухшие губы. И вдруг, на каком-то неуловимом для Яши такте, женщина сорвала с плеч большой кружевной шарфик, и будто вихрь ворвался в сырое подземелье, словно искры обожгли всех собравшихся, словно стремительный поток подхватил танцовщицу.

— Кто это? — спросил Яша свою новую знакомую.

— Тамара Большая.

Яше хотелось перебороть неловкость, охватившую его с самого начала знакомства, он иронически улыбнулся:

— Опять Тамара? И что это у вас за фамилии такие: Большая, Меньшая, а Малюсенская тоже есть?

— Нет, нас только две, — ответила ему улыбкой собеседница. — Обе связанные. И ребята, чтобы нас не путать, прозвали ее Большой, а меня Меньшой. А фамилии у нас обыкновенные: она — Тамара Шестакова, я — Тамара Межигурская...

Межигурская?.. Ну конечно же, это она! Тамара Ульяновна! Ее-то, одесскую чекистку, Яша знал. С какой завистью, бывало, провожал ее Яша глазами при встрече! Чекистка! Что-то было в самом этом слове такое особенное, притягательное для Яши, овеванное романтикой, славой далеких революционных дел... Яша даже не помнит, как и когда он узнал, что родственница соседки по лестничной клетке — чекистка. Она, конечно же, не замечала вихрастого парнишки, его восхищенных взглядов. Да и встречались они два-три раза в году, по большим праздникам. Нет, конечно же, Тамара его не помнит!.. Яша еще больше смутился.

— Она знаешь какая? — не замечая Яшиного сму-

щения, продолжая рассказывать Тамара о Шестаковой. — Во время обороны медицинской сестрой на пароходе плавала, раненых на Большую землю возила. Налетят фашисты, начнут бомбы бросать, все гремит и воем вокруг, осколки свистят, а Тамара смеется, поет, танцует, ободряет раненых. Вот и теперь: ей на задание идти, а она... Павел Владимирович говорит, что веселье и бодрость духа нам нужны так же, как воздух и взрывчатка.

Яша знал, что катакомбисты — отважные, сильные духом люди, подобранные Бадаевым из моряков, пограничников и рабочих каменоломен по рекомендации партийных органов. Знал, что под землей у них много тяжелой работы: роют колодцы и стоки для подпочвенных вод, ищут новые подземные лазы и выходы из катакомб и укрепляют старые, выпиливают из камня столы и скамьи, пишут воззвания, печатают листовки, устраивают ночные вылазки с радиостанцией для связи с Москвой. Ему казалось, что в этом суровом подземном мире — сыром и холодном мире без дней и ночей, без вечерних зорь и утренних рассветов — должны замереть смех и веселье, что катакомбисты должны быть суровыми и думать только о борьбе с гитлеровцами.

— Ну, чего задумался? — взяла его за руку Тамара. — Хочешь, пойдем потанцуем вдвоем?

— Я не умею, — еще пуще смутился Яша.

— Ничего, научу. Разведчик все должен уметь. А я везучая, любого увальня научу. У меня, говорят, педагогический талант. А ты, по-моему, понятливый...

— Не знаю.

Как мечтал когда-то школьник хотя бы поговорить с нею, когда она ненадолго приходила в гости к своей родственнице. А сейчас — танцевать!.. И вдруг Яша подумал о том, что они с Тамарой Ульяновой теперь в одном отряде, делают одно и то же дело... Чекисты!

Так вон они какие!.. И что-то теплое поднялось к самому сердцу Яши, он почувствовал необычный прилив радости, гордости быть рядом с этими людьми. Казалось, нет такого дела, которого он не сделал бы, зная, что о нем думают Бадаев, Межигурская и все эти люди в катакомбах, которые, конечно же, тоже чекисты.

— Вася, — обернулась Тамара к стоявшему рядом партизану. — Подержи, пожалуйста, пока мы с Яшей потанцуем.

Она вынула из-за пазухи пакет, обернутый в волшебную бумагу, и передала партизану. Тот молча положил его себе за пазуху.

— Что это? — спросил Яша.

За нее ответил партизан:

— Это запалы гранат и взрыватели мин. Видишь, какая здесь сырость, все плесенью покрыто, вот и храним их, телом своим обсушиваем.

— Я сейчас попрошу вальс поставить. Хорошо? — спросила Тамара, снова беря Яшу за руку.

Но как только Шестакова закончила танец, руку поднял коренастый мужчина:

— Делу — время, потехе — час. Боевой группе пора на выход.

— Кто это?

— Наш парторг Зелинский Константин Николаевич.

Партизаны сразу затихли, будто кто стер с их лиц улыбки. Шестакова накинула на плечи пальто, запыхавшаяся и раскрасневшаяся после танца подошла к Межигурской:

— Дай-ка, Томочка, мои сувениры.

— Вася, выдай! — улыбнулась Межигурская партизану. — Ему передала на хранение, хотела вот с новым кавалером потанцевать. Ты не знакома? Он без ума от твоей лезгинки, глаз с тебя не спускал.

— Это потому, что он тебя не видел в танце, — Ше-

стакова была выше подруги на целую голову и, может, поэтому разговаривала с ней снисходительно-ласково, как старшая. — А знакомиться перед выходом на задание — дурная примета. Лучше потом, когда вернусь. Ладно? — улыбнулась она Яше.

— Товарищ командир, разрешите на прощание марш катакомбистов спеть, время же еще есть, — обратился к Бадаеву, вернувшемуся в зал, белокурый парень с петлицами пограничника на гимнастерке.

— Правда, Павел Владимирович, — подхватили другие. — Разрешите!

Бадаев вынул карманные часы, посмотрел на них, потом на парторга Зелинского.

— Ну как, Константин Николаевич? Не будем нарушать традицию? Разрешим? — и потом к пограничнику: — Только петь всем!

— Заметано! Иван Иванович, начинай!

— Запевай нашу, катакомбистскую! — слышались голоса.

К каменной глыбе, что в центре зала, вышел Иванов, снял капитанку, откашлялся и, пригладив рукой темно-каштановые выющиеся волосы, запел высоким голосом:

В сырых катакомбах глубоких,
Где воздуха мало порой...

Мелодия песни была знакома Яше. Она сразу вызвала воспоминание о первых днях обороны города. По Матросскому спуску вверх, от порта в город, поднимался отряд морских пехотинцев, только что прибывший из Севастополя. Грохали о мостовую яловые ботинки, качались в такт шагам стволы краснофлотских винтовок, позванивали саперные лопатки о котелки... И молодой звонкий голос взвил, как полотнище флага над походной колонной, мелодию:

Оружьем на солнце сверкая...

Это была старинная, любимая черноморцами песня. Это пели моряки, которых потом враги со страхом называли «черной тучей», «черными дьяволами», «черными комиссарами» и, бросая оружие, охваченные ужасом, бежали от моряцкого штыкового удара.

Марш вперед! —

грянули под сводами катакомб голоса партизан и рассыпались эхом по дальним штольням.

А Яше казалось, что не все бойцы того морского отряда полегли в боях под Одессой, и не все ушли в октябре в Севастополь, что стоят они здесь, среди катакомбистов, и так же, как тогда, на Матросском спуске, поют полной грудью:

Марш вперед!
Друзья, в поход...

Как только затихли последние звуки марша, Иван Иванович снова поднял руку.

— Боевой группе построиться!

И рядом с ним встал парторг Зелинский, только что вместе со всеми певший песню. И рядом с парторгом — Тамара Шестакова, только что лихо отплясывавшая лезгинку.

— Боевая группа готова к выполнению задания, — доложил Иванов командиру отряда.

— Приказываю боевой группе выйти на выполнение задания и вступить в бой за нашу Советскую Родину! — торжественно сказал Бадаев. — Желаю вам удачи, товарищи.

Он подошел к строю и каждому пожал руку.

Группа Иванова ушла. Попрощалась с Яшей и Тамара Межигурская.

— Извини, Яшко. Танцевать научу тебя в следующий раз.

По одному тихо разошлись партизаны.

— И тебе пора, Яшко, — сказал Бадаев. — Тебе тоже на выполнение задания.

...За поворотом штольни запахло подвальной плесенью. Темнота стала осязаемой — холодная и влажная. Под ногами захрустела каменная крошка. Слышно было, как со сводов скапывает вода и шлепают «коржики» — отслоившиеся пластинки известняка.

10. На Нежинской, 75

Чтобы подпольщики, не вызывая подозрений, могли встречаться, в первые же дни оккупации было поручено Николаю Милану открыть парикмахерскую, Борису Вишневскому — слесарную мастерскую, а Николаю Шевченко — свечное заведение. Но Николая Милана арестовали сразу же, как только он явился в примарию за получением лицензии; Вишневскому на мастерскую разрешения не дали; а свечное заведение Шевченко оказалось в месте, очень неудобном для встреч подпольщиков. Только в ноябре Петру Бойко удалось приобрести мастерскую по ремонту примусов на Нежинской, во дворе дома, где жили Гордиенки.

Дом почти пустовал: одни жильцы эвакуировались, другие погибли во время бомбежки, иные подались в села — поближе к хлебу, подальше от сигуранцы. Петр Бойко занял одну из пустующих квартир на четвертом этаже: в одной комнате жил он с молоденькой, похожей на цыганку женой, в другой поселились Яша с Алешей.

— Наше дело молодое, мама. Иной раз песни попеть, с девушками потанцевать хочется, — объяснил Алексей матери, забирая из дому старенький патефон. — А бате покой нужен.

Яков Кондратьевич с Матреной Демидовной и Ниной тоже переселились из своей полутемной в соседскую светлую, просторную квартиру. Кажется, все были довольны. Все, кроме Нины. Она дулась на братьев (раньше они всюду бывали вместе — в кино, в цирке, на каруселях, — теперь, вишь, она для них не компания, если придешь, гонят: ты еще маленькая!), сердилась на дядю Петю — ревновала к нему братьев, откровенно и непримиримо ненавидела новую жену Бойко.

— Петунчик-Петушочек! Кохайлик мой ясный, — передразнивала Нина жену Петра Ивановича.

— Перестань, кому сказано! — строго наступал Яша, сам еле сдерживая смех.

— А вот не перестану. Она гадкая, гадкая, гадкая!..

Яша ловко поймал сестренку за рыжеватые и мягкие, такие же, как у него, вихры и, вместо того чтобы оттрепать непосlušную, прижал головушку к своей груди, погладил, поцеловал в мальчишечий выпуклый лоб:

— Не надо, Нинок. Не надо, золотинка моя.

Нина во всем старалась подражать братьям. В упрямстве и твердости, кажется, превосходила их обоих, недаром ее дразнили Мальчишем!

И вот эта Нина, когда Яша приласкал ее, вдруг совсем по-девчоночьи всхлипнула и, обхватив Яшу ручонками, прижалась к нему:

— Братик, родненький, не оставляй меня одну.

— Да кто же тебя оставляет, глупышка? Мы же здесь, рядом.

— Ой, не оставляй... Уходишь ты от меня. И Лешка уходит... Раньше всегда вместе... Ты занимался со мной, морскому семафору учил... Хочешь, всю азбуку передам тебе семафором? Хочешь?

— Не до семафора нам теперь, Нина, — грустно сказал Яша. — Видишь, в мастерской сколько работы.

— В мастерской, — обиженно надула губы Нина. —

Знаю я вашу работу. И когда дело есть, и когда дела нет — все там сидите...

А и правда! В мастерской не так уж много было у Яши той работы. Старыми примусами занимались Лешка и Хорошенко с Чиковым. Яша только числился помощником мастера. Он мотался по городу: на Большой Фонтан к тете Ксене, на Болгарскую к Николаю Шевченко, в Красный переулок к Фимке и его сестре, по десяткам адресов собирал сведения. Два раза в неделю — по средам и субботам — приходила в мастерскую Тамара Шестакова. Яша рассказывал ей все, что удалось выяснить разведчикам: штаб румынской дивизии расположен на Полицейской и еще на Садовой, в доме номер один, какой-то штаб — все время легковые машины стоят. Военная комендатура после взрыва на Маразлиевской обосновалась на Госпитальной. Сигуранца — на Бебеля, 12. Военно-полевой суд — на Канатной. Гестапо — на Пушкинской, 27. Потом еще у Еврейского кладбища зенитки поставлены... шесть штук.

Только если сведения были очень важные, срочные, Яше разрешалось, не дожидаясь Тамары, самому отправляться в катакомбы. Одному ему из всего городского отряда. Даже если сведения были добыты подпольщиками из других десятков. И только он, Яша Гордиенко, знал расположение секретных входов в катакомбы и нужные пароли. Вот почему Яша с Тамарой каждый раз закрывались вдвоем в маленькой кладовке за мастерской.

Когда Шестакова пришла в мастерскую впервые, Яша, передавая пачку секретных приказов полицейского управления, доставленных Фимкой, ревниво смотрел в ее красивое лицо и думал о том, почему не он, а она ходила подрывать поезд-люкс. Наконец не выдержал:

— Скажи, как там было, на перегоне?

— Я же рассказывала при ребятах: рванули так, что ни один головорез до Одессы не доехал.

— Это я знаю. Об этом разговору в городе много. Ты скажи за себя, как ты действовала.

Он все еще хотел представить себя на ее месте, на пергоне, у Заставы. Ждал, что скажет она так, что у него под ложечкой засосет от восхищения и зависти. А она ответила просто и, как показалось Яше, скучно:

— Я как и все.

— Стреляла?

— Стреляла... Все стреляли...

— А взрывчатку?

— Взрывчатку под рельсы у моста подкладывал Иван Иванович. Он это умеет...

— А вы-то, вы-то что делали? — нетерпеливо спрашивал Яша.

— Мы?.. Константин Николаевич тащил провод от мостика в лесопосадку...

Яше хотелось услышать рассказ о подвиге, а Тамара рассказывала неохотно.

— Знаешь что, Яшко, — наконец сказала Тамара, — давай лучше о деле. В случае чего на шестой выход в Нерубайском не ходи — заминирован румынами, иди через второй, Усатовский.

Яше и самому стало неловко и оттого, что дотошно спрашивал, и от своей зависти. С тех пор он никогда не вспоминал о подрыве поезда-люкс.

Сегодня Тамара предупредила:

— Через Хаджибеевский парк не ходи, там каратели. Лучше через Кривую Балку.

Она оставила ему пароли. Записывать их Бадаев не разрешал, и Яша с ожесточением зазубривал на память эти секретные слова. А их было немало: до захода солнца надо было сказать дежурившему у входа в катакомбы партизану одни слова, после захода — другие, после

полуночи — трети, а городским подпольщикам на явочных квартирах — совсем иные.

Тамара ждала, пока Яша выучит все.

— Ну что ты кривишься, будто касторку дегустируешь, — подтрунивала она.

— Никогда в школе ничего не зубрил, — признался Яша. — И зубрильщиков не любил, всегда смеялся над ними...

— Зубри, зубри, мальчик. Страшно подумать, если ты забудешь или спутаешь пароль, скажешь не то слово, что надо... Могут принять тебя за провокатора...

Яша надулся. Он не любил, когда его называли мальчиком. Особенно Тамара. Все еще не мог забыть подрывную группу Иванова. Будто она сама напросилась туда, а не выполняла приказ командира. Вишь, теперь мальчишкой его считает!.. Да, все девчонки такие. Вот только Лена, Ли!.. Она, хотя и старше его на целых два года, но... Яша почувствовал, как у него вспыхнули щеки и сладко-сладко защемило сердце.

Тамара ушла только тогда, когда убедилась, что в определенный день и час Яша скажет именно то слово, которое откроет перед ним дорогу в катакомбы.

В мастерской чинить было нечего, и, когда Шестакова ушла, Яша закрыл входную дверь на добротный засов и, посадив у окна Сашу Чикова с напильником и железным стержнем в руках (всякий нежданный посетитель скажет, что парень усердно трудится), достал из тайника газету, подаренную отцом.

Все то, что было напечатано в ней под обведенным траурной рамкой заголовком «Светлой памяти замученных товарищей», каждый из присутствующих мог бы уже пересказать наизусть. Но и сегодня плотный, широкоплечий, с удивительно черными и густыми бровями Шурик Хорошенко попросил Яшу:

— Прочитай, Яшко, как они умирали.

В тот день, когда фашисты входили в Одессу, Шурик был на Пересыпи, вместе с другими рабочими прятал заводские станки. Когда вышли на улицу, с дальнего конца Московской послышался глухой грохот. Шурик оглянулся: из впадины, будто из-за края земли, медленно выползла серо-зеленая глыба.

— Танки, — сказал сутулый мастер, остановившийся рядом с Шуриком.

Вслед за первым появилось еще два танка. Кроша траками разбросанные бомбежкой куски штукатурки и поднимая известковую пыль, танки медленно ползли по улице, будто принохивались к ней вращающимися стволами.

— Теперь ты, парень, домой не успеешь, — сказал мастер. — Зайдем ко мне, тут рядом, на Богатого, перебудешь, пока все уляжется.

Они быстро пошли, прижимаясь поближе к домам, как будто это могло их спасти от пулеметной очереди или снаряда танковой пушки. Они шли быстро, а танки ползли медленно, и все же грохот слышался все ближе и ближе, будто хватал Шурика за спину. Они вскочили в какую-то подворотню и притаились. Когда танки были уже совсем рядом, Шурик увидел на самой середине мостовой крохотную девочку. Ей не было никакого дела до войны. Она возилась в пыли, что-то складывала из камешков. Услышав грохот, она поднялась на кривых ножках и, закрыв глаза кулачками, будто от нестерпимого солнца, закричала. Худенькая, незагорелая — только серые от пыли трусики, — с копной белых кудряшек на голове, она казалась нелепым одуванчиком: дует ветер и начисто обнесет ее...

Шурик не успел даже крикнуть, как сутулый мастер сорвался с места и побежал наперерез танкам. Он схватил девочку почти из-под гусениц и, прижав к груди, бросился с мостовой. Но серо-зеленое чудовище повер-

нуло за ним, прибавило скорость... Четверо фашистов в зеленых касках, сидевшие на броне танка, утробно заржали. Даже рев мотора и лязг гусениц не заглушили это ржание.

С тех пор Шурик не мог оставаться наедине. Во сне он слышал крик девочки, грохот и лязг гусениц. И земля под ним начинала дрожать, словно по ней снова шли танки. Когда просыпался, ему казалось, что его отхлестали по щекам, а он не мог дать сдачи...

— Прочитай, Яшко, как они умирали.

— «Они умерли как молодые герои, — читал Яша. — Конвой, который должен был вести их на расстрел, отказался расстреливать, но и тюрьма отказалась принять их. Казнь в ту ночь не состоялась. Ночь они провели в полицейском участке, поддерживая и ободряя друг друга, твердо уверенные, что смерть их не останется неотомщенной...»

Потом Яша читал письмо осужденных:

— «Девять юных коммунистов, осужденных на казнь 4 января 1920 года военно-полевым судом при штабе белогвардейской обороны Одессы, шлют свой предсмертный прощальный привет товарищам.

Желаем вам успешно продолжить наше общее дело.

Умираем, но торжествуем и приветствуем победоносное наступление Красной Армии. Надеемся и верим в конечное торжество идеалов коммунизма.

Да здравствует Красная Армия!»

Дальше шли фамилии осужденных. Они тоже были известны ребятам давно, с детства. Эти фамилии до войны были высечены на гранитной стене дома, в котором томились в застенке: Дора Любарская, Ида Краснощекина, Яша Ройфман, Лев Спивак, Борис Туровский, Зигмунд Дуниковский, Василий Петренко, Миша Пельцман, Поля Барг.

Яше казалось, что он слышал, не видел напечатан-

ным потускневшей краской на пожелтевшей бумаге, а именно слышал, будто этот расстрелянный в двадцатом его тезка Яша Ройфман говорил ему: «Умираем, но торжествуем... Желам вам успешно продолжать наше общее дело».

— Будто нам они слали свой прощальный привет, — тихо сказал Хорошенко.

— Нам. Нашему поколению, — подтвердил Алексей.

Но Шурик покачал головой, раздвинул на груди концы яркого шерстяного шарфика, будто ему стало жарко.

— Нет, Леша. Не вообще поколению, а мне, тебе, Яше, Саше Чикову... Словно они знали кого-то из нас, будто знали, что мы придем им на смену.

— Ты прав, Шурик, — раздумчиво поддержал его Яша. — Не надо прятаться за поколение. Поколение, оно воюет. А это нам... То, что должен сделать я, должен сделать я, и никто другой.

— Я свое сделаю, — сказал Алексей.

— И я, — подал голос от окна Саша Чиков.

— И я.

Ребята помолчали. Все думали об одном и том же. И каждый думал по-своему. Саша Чиков смотрел в окно, за которым стыл декабрь — суровый, леденящий, не похожий на южные декабри. И думал о том, что после бомбежек и пожаров, после грабежей и облав, которые чуть ли не каждую ночь устраивают «завоеватели», люди просто не замечают жестокого холода! А зима надвигается лютая. И никто не сетует. Когда много бед, то еще одной можно и не заметить. Такие, как Борис Туровский и Василий Петренко, наверняка многому значения не придавали.

Алексей вспомнил больного отца, подумал: «Не зря хранил двадцать лет он газету в своем сундучке...»

После того разговора Яков Кондратьевич ни разу

не напоминал сыновьям об их долге, ни о чем не расспрашивал. Только каждый раз, когда Алексей заходил к нему, через силу пытался улыбнуться и подмигивал Алексею.

— Ну, как Гордиенки?

— Порядок, батя.

— Ну-ну... Гордиенки!

Отцу становилось все хуже и хуже, ему уже трудно было разговаривать. И сейчас, когда Яша голосом, удивительно похожим на голос отца, читал предсмертное письмо тех девяти из двадцатого года, Алексею казалось, что это отец говорил ему и Яше: «Надеемся и верим...»

А Яша думал о Лене. Вчера он читал эту газету ей и Фимке.

— Что за парень! — воскликнул Фимка, когда Яша прочитал предсмертное письмо Зигмунда Дуниковского. — Все на себя взял и никого не выдал. Надо же!

— Я бы... Я бы такого навек полюбила, — устремив огромные синие глаза куда-то в безграничность, будто перед ней не было ни стен комнаты, ни Фимки, ни Яши, сказала Лена. — Я бы такому всю жизнь отдала...

И Яша пожалел, что письмо, напечатанное в «Коммунисте», написал Зигмунд Дуниковский, а не он, Яша... «Ничего, были они, теперь наш черед», — неожиданно вспомнил он слова Алексея, сказанные отцу...

— Прочитай письмо Доры Любарской, — попросил Хорошенко.

Яша поднял газету.

— «Славные товарищи! — читал он при благоговейном молчании остальных. — Я умираю честно, как честно прожила свою маленькую жизнь. Через восемь дней мне будет двадцать два года, а вечером меня расстреляют. Мне не жаль, что погибну, жаль, что мало сделала в жизни для революции...»

— Стоп! — перебил Яшу Саша Чиков. — К мастерской идет какая-то страхолюдная нищенка с примусом. По местам стоять, к постановке на якорь приготовиться!

Алексей быстро пошел к своему столу, за которым принимал заказы и писал записочки-квитанции. Шурик Хорошенко отодвинул засов и, встав к своему верстаку, принялся сосредоточенно рассматривать расплюснутый в блин, позеленевший от времени примус. Яша, схватив газету, выскочил в кладовку.

Вошла посиневшая от холода, сгорбившаяся, несчастенькая попрошайка. Настороженно зыркнув по мастерской, молча развернула новенький примус, протянула Алексею. Тот взял в руки, деловито повертел его. Примус действительно был как только что из магазина, починки никакой не требовалось. Значит, хозяйка пришла сюда не ради ремонта, сейчас она произнесет первые слова пароля. Но вошедшая молчала, дула на озябшие пальцы и все присматривалась к тем, кто находился в мастерской. Может, забыла первые слова пароля?..

Наконец, Алексей не выдержал:

— К каждой головке должна быть игла.

Это был ответ на первые слова пароля. Если бы женщине они были известны, она бы их вспомнила или произнесла, хотя бы вторую часть пароля. Но она удивленно посмотрела на Алексея и, оглянувшись на остальных мастеровых, сказала:

— Мне нужен капитан Хива.

Алексей побледнел: человек, не знающий пароля, приходит с исправным примусом и называет Яшину кличку! Здесь что-то не так!

— Шурик, прикрой дверь, Сквозит.

Хорошенко бросил под верстак занимавший его примус, подскочил к двери, закрыл задвижку и заслонил выход своим могучим телом. Саша Чиков поднялся с места, поигрывая в руках увесистым шкворнем.

— Чем могу служить? — предупредительно наклонился к пришедшей Алексей, будто и не слышал ее слов.

— Мне нужен капитан Хива, — повторила она хриловатым, простуженным голосом.

— Я здесь, Варвара Алексеевна, — отозвался Яша, выходя из кладовки. — Хорошо, что услышал ваш голос.

— Здравствуй, Яша, — обрадовалась женщина. — Ты до сих пор обо мне не вспомнил?

Алексей, Шурик и Саша многозначительно переглянулись и занялись своими делами. Откуда было им знать, что под маской нищенки скрывалась жена моряка-коммуниста, с которым Яша познакомился еще в дни обороны города. Тяжело раненный командир морских пехотинцев знал, что автоколонна, с которой эвакуировалась жена, была уничтожена фашистскими самолетами где-то у села Нечаянное, но в сердце держал надежду, что живой осталась его Варенька и рано или поздно вернется она к родному порогу. Он и попросил Яшу в последний час перед отправкой на госпитальное судно: «Будь другом, узнай у соседей, может, объявится такая. Сердце у нее чуткое, как скрипка, и горячее, как солнце, но в обыденной жизни непрактична, как дитя. Может, поддержишь ее чем-нибудь... А то хоть привет передай». И сказал-то он Яше, может быть, только потому, что никого другого, более надежного рядом не оказалось, больше для облегчения души своей сказал. Но Яша такой: пообещал, значит, выполни! В ноябре пошел Яша по адресу, который дал ему раненый командир, но вместо дома нашел только грудю ноздреватого ракушечника да торчащие из нее ребра арматуры. Там и нашел он Варвару Алексеевну, голодную, в лохмотьях. Пока тепло было, скрывалась в подвалах разрушенных домов. Яша дал ей свой домашний адрес на всякий случай, доложил о ней Бадаеву и, по его совету, решил достать ей

паспорт на чужую фамилию, но события так завертелись, что он снова потерял ее из виду, а она о себе весточки не подавала.

— Я вас искал, Варвара Алексеевна, но...

— Это хорошо, что искал.

Она недоверчиво оглянулась на ребят, подошла к печурке, в которой еще тлели угли, протянула синие, иззябшие пальцы.

— Ты никого, Яша, не знаешь из тех, кто в катакомбах остался? — спросила она вполголоса, когда тот подошел и присел рядом.

— Нет... Не знаю, Варвара Алексеевна, — так же тихо ответил Яша. — А зачем они вам?

— Есть у меня кое-что интересное для них, да вот не знаю, как передать.

Яша задумался на минуту, будто что-то вспоминая.

— Знаю одного пацана, у которого, говорят, отец ушел в катакомбы.

— Правда? — оживилась Варвара Алексеевна.

- — Можете рассказывать.

— Можно? — под низко повязанным рваным платком тепло и умно сверкнули красивые глаза. — Хорошо... У моей знакомой на квартире остановился румынский колонель-лейтенант*. Вчера у него были гости, офицеры его полка, по случаю награждения хозяина каким-то орденом. Подвыпившие гости возмущались, что дивизию отправляют на Николаев походным порядком. Только немцев повезут на машинах. Королевские вояки пойдут пешком.

— Когда выступает дивизия? — заинтересовался Яша.

* Колонель-лейтенант (румын.) — подполковник.

- Послезавтра, на рассвете.
- Ваша знакомая знает по-румынски?
- Да.
- Этот королевский гусь знает об этом?
- Нет.
- Ей можно верить?

— Верить надо мне. Она и не подозревает, что я передам кому-то наш разговор.

В мастерскую зашел долговязый парень в кожаном пальто и желтых перчатках с крагами. Поставил перед Алексеем закопченный примус:

- Вы сможете починить головку?

— К каждой головке должна быть игла, — ответил Алексей.

- Новая?

- Нет, старая. Но не сломанная.

Алексей метнул быстрый взгляд на Яшу: пароль правильный, но при посторонних продолжать разговор нельзя.

— Варвара Алексеевна, — обратился к своей собеседнице Гордиенко, — мы мешаем посетителям. Пройдемте в кладовую.

— Как же вы догадались прийти в мастерскую с примусом? — спросил Яша в кладовой.

— Ну не с отрезом же на платье идти в примусную мастерскую, — двинула она плечами. — Я вчера пришла, спросила у какого-то мальчика, он: «А, капитан Хива! Вот там с примусами возится!» — и показал мне мастерскую. — Варвара Алексеевна пристально посмотрела в глаза Яше. — Может... листовки какие надо расклеить или сводки Совинформбюро... Яша, верьте мне... пожалуйста. Я на все готова... Понимаете?

— Все понимаю, Варвара Алексеевна, раз вы пришли ко мне сообщить о предстоящем марше дивизии.

Но листовок у меня нет. Есть для вас другая работа. Под Москвой наши дали фашистам по зубам. Это точно, как в геометрии. Встретите знакомых женщин — расскажите. Будут спрашивать, откуда вы знаете, — скажите: на базаре слышала. Отбросили гитлеровцев на сто километров, набили их, что песка на пляже. Надо, чтобы женский телефон прозвонил об этом как можно быстрее по всей Одессе... И еще скажите: моряки, мол, не все ушли в Севастополь, две морские дивизии в катакомбах ждут сигнала, скоро оккупантам и их прихвостням крышка будет. Крышка со звоном!

Соврал Яша насчет морских дивизий! Соврал, даже уши от стыда покраснели. Но пусть! Пусть дрожат гады, все равно им не уйти от расплаты!

— Может быть, скоро и войне конец? — спросила женщина. — Может, своих встречать будем скоро?

— Может, и скоро, Варвара Алексеевна. Я верю в нашу победу.

— А наши не спросят, что мы здесь делали?

— Спросят. Обязательно спросят.

— Я не хочу, чтобы мне нечего было ответить мужу и его друзьям...

Когда Яша, проводив Варвару Алексеевну, вернулся в мастерскую, долговязый парень о чем-то оживленно рассказывал ребятам, горячился и возмущался.

— Послушай, что он рассказывает, — сказал Алексей брату. — Это Людвиг, брат Густава Вольфмана.

— Немец? — спросил Яша.

— Да, немец, — твердо ответил долговязый. Серое лицо его залилось краской. — Эрнст Тельман тоже немец.

— Эрнст Тельман в концлагере, а ты на воле.

— Если я попаду в концлагерь, ты, может быть, нач-

нешь мне верить, но я тогда уже ничем не смогу быть вам полезен.

— Его брат — командир десятки, — напомнил Яше Алексей.

Людвиг Вольфман, парень из местных немцев-колонистов, работал шофером в немецкой автоколонне, перебрасывающей грузы из Одессы к фронту. Во время очередного рейса он заметил под Первомайском большой немецкий склад авиабензина, тысячи на три тонн, а южнее, в излучине Кодымы, — около тысячи законсервированных грузовых автомашин. Вернувшись в Одессу, Людвиг рассказал об этом брату, командиру партизанской десятки. Тот пошел к Старик, так партизаны между собой звали теперь Петра Бойко. Но Старик сказал, что для катакомбистов эти сведения не представляют ценности, так как все равно, дескать, у них до Первомайска руки не дотянутся. А когда Густав Вольфман начал настаивать, чтобы Старик сообщил катакомбистам о складе горючего и стоянке машин, тот выгнал его и пригрозил «взять в шоры», если Густав будет совать нос куда не следует.

— Ладно, разберемся, — сказал Людвиг Яша.

А когда Людвиг ушел, Алексей сказал:

— Старик просто дурень. Он совсем ничего не знает о связи катакомбистов с Москвой. Павел, наверное, ничего ему об этом не говорит.

— Ты так думаешь, Алеша?

— Конечно! Он же осторожный! Если бы не Яшко, мы, пожалуй, тоже ничего не знали бы.

— А я думаю, что Старик всего боится, — настаивал Хорошенко. — Он готов вовсе ничего не делать, только бы не привлечь к себе внимание сигуранцы, только бы отсидеться под вывеской «Слесарная мастерская Петра Бойко». Вчера, вишь, даже газету велел уничтожить.

Вы мне такую литературу, говорит, сюда не таскайте. Вдруг, говорит, обыск? Так и провалиться можно.

— Насчет обыска Старик, пожалуй, прав, — заметил Алекссей. — Не в жмурки играем. Беречься надо. И газету тоже пора в тайник спрятать.

— Что-то не узнаю я тебя, Лешка, — недовольно перебил его Хорошенко. — Ты же слыл раньше веселым человеком, тебе все трын-трава было.

Алексей пристально посмотрел на товарища, потом покрутил пальцем у виска, давая понять, что тот несет глупость.

— То ж я кем был? Мастеровым человеком. Трын-трава!.. Ты тоже хорош гусь был. И Яшко не ангел. Но то... С тех пор, может, сто лет прошло... А теперь кто мы есть? Подпольщики! Соображать надо.

— Бесстрашными надо быть.

— Не только бесстрашными, Яшко.

— Твердыми?

— Не только.

— Беспощадными, — выдохнул Саша Чиков.

— Верными надо быть. Верными, вот, как они, первые комсомольцы, и как... чекисты. И хитрыми надо быть. Надо владеть собой, чтобы никто не догадался, каким мы делом заняты. Быть ловкими, неуловимыми, чтобы гестапо и полиция сбивались с ног и там, где нас десять, видели сотню, тысячу... А поймать ни одного не могли. Надо так уметь прикидываться, так маскироваться... Плохо мы еще делаем наше партизанское дело.

— А Садовой, по-твоему, тоже прав? Всегда под мухой, всегда какие-то гешефты с марками, — недовольно бурчал Хорошенко. — Что он, тоже маскируется?

— Третьего дня встретил Садового на улице, — сообщил Чиков. — Пьян был в стельку, на ногах не держался.

— Садовой — гад! Выгнать бы его из отряда.

— Выгнать нельзя. Больно много знает...

— Ну, кончай ярмарку, — встал Алексей. — Закрываю заведение. Мне как мастеру не годится поощрять такие разговоры.

— Шутки шутками, — заключил Яша, — а мне надо идти к Павлу. Ты, Алеша, проводишь меня, Павел велел ночью по-одному не ходить. Завтра пойдешь к тете Ксене. Передай привет от Павла, скажи, дела на верном курсе, пусть ждет. Обязательно расскажи о боях под Москвой и передай для Музыченков: Павел их работой доволен, пусть продолжают в том же духе. Тебе, Хорошенко, уточнить, что за батареи устанавливаются на Пересыпи. А ты, Саша, подежурь в мастерской. Да не хватайся сгоряча за шкворень, еще своего кого-нибудь ухлопаешь.

11. Свой или чужой?

Ребята шли в темноте сперва глухими проходными дворами городской окраины, затем пустынными улочками слободки, замирая каждый раз за каким-нибудь деревом или остатками каменного забора, как только слышались шаги приближающегося патруля. Потом через болото и камышовые заросли выбрались в пригородное село Кривую Балку. Еще летом село утопало в садах, из-за развесистых кленов и густых акаций, высаженных вдоль улиц, выглядывали подсиненными окнами аккуратные белые домики, шмыгали любопытные ребятишки, выскакивали не злые, а, скорее, веселые, дворняги и, присев на передние лапы, голосисто тявкали на прохожего, пока из тех же акаций не выходила повязанная по самые глаза белым платком хозяйка и певучим, ленивым от зноя голосом не звала к себе своего Барбоса

или Громобоя. Теперь село было вымершим, разрушенным, будто злая стихия прокатилась по нему из края в край: деревья повалены — топором, пилой, взрывчаткой. Домики взорваны или сожжены, даже каменные заборы разрушены. Алексей и Яша прошли через село молча, как по свежему кладбищу: перелезали через стволы убитых кленов, спотыкались об израненные взрывчаткой камни, обходили обуглившиеся останки зданий.

— Ой, Лешка! Что же они, паразиты, делают с нашей землей! — простонал Яша.

Лешка молчал. Вспомнил виселицы с замученными людьми на Тираспольской площади, на Привозе и Новом базаре. Вспомнил бесконечные потоки голодных, полуголых, замерзших от стужи и обезумевших от ужаса людей, которых в осенний дождь, смешанный со снегом, плетями гнали на слободку, в гетто. Им не давали остановиться, запрещали говорить с прохожими, принимать от них пищу. Вспомнил рассказы о массовых расстрелах на Стрельбищном поле, о сотнях заживо сожженных в Дальнике, о том, как фашисты штыками и гранатами загнали тысячи людей в артиллерийские склады бывшего артучилища и взорвали их... Он сжимал кулаки и шел в каком-то оцепенении: если бы из темноты появились враги, он бы не стал прятаться — голыми руками вцепился бы им в горло.

Только когда поднялись по склону Шкодовой горы и в лицо пахнуло старой полынью с поля и йодистой сыростью с лимана, он остановился, тяжело вздохнул и выругался.

— Жабы проклятые! Они еще поплатятся за все! До самой смерти будут просыпаться в холодном поту, когда им приснится Одесса!

Яша стал рядом, сухим языком слизнул горькую

слезинку, скатившуюся к губам, сорвал с головы кубанку.

— Ничего мне, Леша, не страшно: ни кандалы, ни пули — лишь бы отомстить за Одессу, только бы помочь нашим разбить фашистов!

— Для этого много надо, Яшко, — положил руку на плечо брата Алексей.

— Разве мы делаем мало?

— Немало, Яшко. Но надо больше... Вот ты говоришь, ничего не боишься. Это хорошо, но этого мало... Пошли!

Степью шли молча. Только перед самым Усатовым Алексей оглянулся, схватил шедшего впереди Яшу за рукав, прислушался.

— Ты что, Леша?

— Мне показалось, что кто-то крадется за нами.

Яша тоже прислушался и так напряженно всмотрелся в темноту, что вскоре ему померещились движущиеся тени.

— Брось, Леша. Это нервы.

— Нервы ли?

— Пойдем.

Впереди самое трудное: начинается запретная зона. Каратели сплошным кольцом патрулей оцепили села в районе катакомб — Усатово, Фомину Балку, Нерубайское, Гниляково, Куяльник. Днем в них пройти можно только по специальным разовым пропускам, а ночью патрули открывали огонь по любой тени, даже если им померещится что в темноте.

Всего в сотне метров дорога, петляющая по краю скалистого оврага, но подойти к ней почти невозможно. Через каждые сто метров — парный патруль. И не стоит он на месте, движется, снует, как паук в паутине, по своему участку: полсотни шагов вправо — полсотни шагов влево, вправо-влево... Винтовка наперевес, пат-

рон в патроннике, палец на спусковом крючке. Немеют, дрожат руки у патрульных от напряжения... Идут патрули навстречу друг другу, на стыке участков встречаются почти штык в штык, негромко перекликаются — то ли опознают, то ли подбадривают один другого:

— Виу? Живой, мол, еще.

— Слава дамбулуй! Пока слава богу.

И, круто повернувшись, расходятся в противоположные стороны, каждый растворяется в темноте своего участка, чтобы через сотню шагов встретиться с другим соседним патрулем.

— Виу?

Яша и Алексей замерли, притаились в канаве недалеко от места встречи патрулей. Как только те повернулись спиной друг к другу, бесшумно приподнялись. Но у Фоминой Балки неожиданно взметнулся в небо голубой столб прожекторного луча и, упав на землю, медленно поплыл по кордону запретной зоны, ощупывая каждый кустик, высветляя каждую кочку, отбрасывая дрожащие, уродливые тени от патрульных. Яша и Алексей упали в канаву, влипли всем телом в промерзшую, пахнущую прелым бурьяном почву. Как только голубой свет проплыл над ними и снова над кордоном сомкнулась темень, Яша тронул за плечо брата.

— Давай!

Бесшумными тенями скользнули они через дорогу, цепляясь руками за ноздреватые камни косогора, съехали вниз на дно скалистого овражка. Сделали десятка три шагов, сели передохнуть.

Над головой то наливалось беспросветным мраком, то чуть голубело в отсветах прожекторного луча низкое осеннее небо. И вдруг на фоне этого неба, там, где они только что на собственных ягодицах съехали в овражек, выросла невысокая фигура. Какой-то подросток в мала-

хает, просторном ватнике и широченных брюках присел над оврагом, вероятно пытаясь что-то рассмотреть на темном дне. Алексей и Яша одновременно схватили друг друга за руки и, не проронив ни слова, отползли за выступ скалы.

— Говорил тебе, слежка, — еле слышно прошептал Алексей.

Яша дернул его за рукав: молчи!

Подросток торопился. Он не съехал по косогору, как это сделали только что ребята, а просто скатился по нему, сбивая шуршащую каменную крошку.

В руке Алексея блеснуло узкое лезвие ножа. Яша схватил брата за плечо.

— Не дури. Крик могут услышать патрули на кордоне.

— У меня не крикнет.

— А если это связной к Павлу с какого-нибудь отряда?

— Что же делать?

— Пропустим вперед. Там посмотрим.

Подросток, теперь его не было видно в темноте, сперва полежал тихо. Потом поднялся на ноги. Осторожно ступая по досуха промерзшему бурьяну, почти бесшумно двинулся вперед. Он то поднимался во весь рост, то приседал, то останавливался, прислушиваясь. «Значит, следил за нами и потерял, — догадался Яша. — Но это может быть и шпик, увязавшийся за нами еще в городе, и возвращающийся связной, и посыльный из другого отряда, который заметил нас раньше, чем мы его... Свой или чужой?»

Между тем неизвестный подошел к самому выступу скалы, за которым прятались ребята, снова остановился, прислушиваясь... Громко вздохнул и решительно, быстро шагнул вперед.

— Нина? — тихонько окликнул Алексей.

Неизвестный мгновенно остановился и притих.

— Нина? — чуть громче позвал Алексей.

— Где ты, Леша? — услышал Яша знакомый голос. Это была она, Нина.

Она давно уже по обрывкам подслушанных разговоров, по таинственным встречам в мастерской, по тому, что братья где-то пропадали по нескольку дней, догадалась об их связи с партизанами, о которых в городе ходило много всяких разговоров. Она всегда верила: ее братья — герои. Ей очень хотелось быть с ними наравне. И сегодня, выследив, когда те собрались уходить, решила пойти за ними. Разве в революцию не было девушек-партизанок? Разве батя не рассказывал, что женщина была даже комиссаром эскадры?

— Ты же могла погубить и себя, и нас.

— Ты, Яшко, все думаешь, что я ни на что негожа? На, смотри!

Она одним движением распахнула ватник, и в руке, так же как и за минуту до этого у Алексея, сверкнул нож.

— Я зубами их грызть буду!

— Как же ты через кордон?..

— А я рядом с вами в канаве лежала. Только перебежать вместе не успела, пришлось подождать, пока патрули снова встретились и разошлись. Они же слепые после прожектора.

— Нинка, Нинка! Что же нам с тобой теперь делать, Нинка?

— Я пойду с вами.

— Нельзя, золотишка моя. Нельзя, ты понимаешь?

— Я же пионерка. Разве Павлик Морозов был старше меня?

Яша обнял сестренку, прижал ее к себе.

— Понимаешь, Нина, есть строгий партизанский закон — пока командир не разрешит, никого в катакомбы

приводить нельзя. Я дал клятву, что никогда не нарушу партизанский закон. Ты же пионерка, знаешь, что такое клятва.

Нина молчала.

— Помнишь, батя рассказывал, как моряки расстреляли своего товарища за то, что тот нарушил дисциплину? — поддержал Яшу Алексей.

— За нарушение клятвы меня партизанским судом судить будут, — сказал Яша.

— Как же нам быть? — спросил Алексей.

— Ты вернись с Ниной домой, — ответил Яша. — Я пойду один. Осталось недалеко, метров восемьсот по оврагу.

— А может, ты передашь донесение часовому и вернешься? — спросил Алексей. — Мы подождем тебя здесь. Вместе пойдем домой.

— Нет. Мне обязательно надо поговорить об одном деле с самим Павлом. Это важнее, чем само донесение...

— Ну, смотри. Ты командир, как скажешь, так и будет. Дисциплина.

Через несколько минут Яша уже был у неприметной щели под скалой. Надо было лечь на дно оврага, протиснуться под камень, чтобы добраться к входу.

— Кто? — негромко окликнули его в темноте.

— Принес головку к примусу, — ответил Яша.

— А иголку?

— Иголка у каждого своя.

— Здесь уже можно встать, только береги голову, — сказал тот же голос, и чья-то рука нащупала Яшино плечо. — За мной.

Они прошли несколько шагов, дважды сменив направление. За третьим поворотом Яша увидел желтое пятно света, падающего на большие кирзовые сапоги: человек держал у самой земли фонарь, прикрытый

сверху полой плаща. Освещалась только дорога, ни лица, ни фигуры державшего фонарь видно не было.

— Иди за ним, — сказал тот, кто привел Яшу.

— Держись посередине, подальше от песчаных осыпей, там заминировано.

Тотчас желтое пятно света колыхнулось, кирзовые сапоги шагнули по каменной крошке. Яша пошел за ним.

После нескольких поворотов провожатый откинул с фонаря полу брезентового плаща. Это был среднего роста человек. Лицо при свете фонаря казалось желтоватым, с характерным горбатым носом, черными глазами, седыми, коротко стриженными усами и крепким, по-солдатски выбритым подбородком.

Они оказались в довольно просторной пещере с низким потолком. Человек подошел к щели в стене, просунул в нее фонарь и медленно полез в узкий проход, задевая широкими плечами стены, с которых сыпалась каменная крошка. Яша полез за ним. Постепенно начал понижаться потолок — во весь рост уже идти было нельзя, а идти в согнутом положении оказалось трудно.

— Возьми руки за спину, так легче, — посоветовал провожатый. — Идти-то далеко придется. Да смотри не отстань, не сверни в сторону. Галка сбилась, так сутки почти всем лагерем искали.

— Какая Галка?

— Марцишек. Связная. Жена покойного Ивана Ивановича.

— Минера Иванова? — даже остановился Яша от неожиданности.

— Да, минера, — провожатый, перестав слышать Яшины шаги, тоже остановился. — Чего ты?

— Разве он... Почему ты его покойным назвал?

— А-а... Погиб Иван Иванович, — повернулся провожатый к Яше лицом. — Третьего дня каратели два часа

гвоздили из пушек по Нерубайскому входу, а потом ки- нулись целым взводом в катакомбы. Мы с Иваном Ива- новичем — наше отделение — защищали тот вход. Под- пустили их до первого поворота и взорвали мину — ни один в живых не остался. Думали, не сунутся больше. А они новый взвод посылают. Ну, мы отошли ко второй баррикаде — там узко, больше двух человек рядом не пройдет. Мы — в темноте за баррикадой да каменными выступами, а они — вскочат в штольню и на фоне освещенного выхода как на киноэкране. И целиться не надо, все равно не промахнешься. Более полутора суток наше отделение бой держало: выбьем один взвод — каратели другой посылают. Трупов в проходе навалили столько, что... В общем, больше не лезут фашисты. Час, полтора ждем — тихо. «Держите штольню под прицелом, — при- казал нам Иван Иванович, — а я подберусь ближе к вы- ходу, оценю обстановку». Ну и пошел. Сперва осторож- но, прячась за выступы, а потом без всякой опаски. До самого выхода дошел благополучно. Захотелось, видно, выглянуть, посмотреть, что там, на земле, тво- рится. А там засада. Только высунулся, его разрывной пулей и сшибло.

Провожатый помолчал, протер полый плаща стекло фонаря, хотя оно и без того было чистым, вздохнул.

— Ну, пойдем, друг. Еще немалый кусок пути впе- реди. — И уже на ходу закончил рассказ: — Вот с тех пор Галка, жена его — может, видел, малень- кая такая, беленькая, в кудряшках, — все ходит по штольне, плачет: «Ванечка, Ванечка!», ничего вокруг не замечает... Ну, пошла вчера могилку Ивана Ивано- вича провести и заблудилась...

Яше жутко стало от этого рассказа. Он вспомнил ве- селого черноглазого моряка-запевалу, моряка, с кото- рым парторг Зелинский и Тамара Шестакова взрывали поезд-люкс. Надо же остаться невредимым при выпол-

нении опасного задания вдали от отряда, а тут, в катакомбах... Яша шел согнувшись, заложив руки за спину, как старик, старался не отстать от провожатого. Ему казалось, что темнота подземелья давит ему на плечи, а он не может выпрямиться, сбросить эту тяжесть.

Туннель все время поворачивал то вправо, то влево. Он то поднимался, то круто уходил вниз, так что приходилось спускаться, придерживаясь за стены, то сужался в узкую щель, то расширялся в просторную пещеру. От головного штрека, по которому они двигались, все время шли ответвления в стороны. Иногда их было сразу несколько. Тогда провожатый останавливался, освещал неровно высеченные стены. Яша заметил, что все они были испещрены различными, выцарапанными на камне или нарисованными мелом значками: стрелками, кружочками, звездочками, крестиками, буквами, цифрами. Яша понял: не будь этих значков, любой человек заблудился бы в каменном лабиринте и погиб среди множества поворотов.

...То, что рассказал в мастерской Людвиг, особенно встревожило Яшу. Он вспомнил свой спор с Бойко пару недель тому назад.

Ребята из десятки, те, что не были заняты в мастерской и мало знали о работе других разведчиков, требовали боевого дела. Горячие головы чего только не предлагали: напасть на следственную тюрьму, организовать массовый побег из гетто, обстрелять вокзал, взорвать бывший Воронцовский дворец, в котором губернатор Транснистрии Александру обосновался, поджечь ресторан «Черная кошка», в котором пьяное офицерье и уголовное отребье устраивали дикие оргии. Во всех этих проектах было много фантазии и мало смысла: следственная тюрьма усиленно охранялась, пленникам гетто бежать было некуда, обстрел вокзала и поджог ресторана никакой пользы не принесли бы, только вызвали бы

новые, еще более жестокие репрессии, в результате которых пострадало бы ни в чем не повинное население.

— О Воронцовском дворце чтобы разговора больше не было. Там же Дворец пионеров был до войны, или у вас память отшибло? — урезонивал ребят Яша Гордиенко. — В нем же Пушкин, может, самые лучшие стихи написал! А вы — взорвать!.. Да Александру со всем своим кодлом, со всем своим родом-племенем не стоит того, чтобы из-за него такую красоту губить!

— А на Маразлиевской?

— То ж другое дело! Таких домов, как на Маразлиевской, мы, дай только нашим вернуться, настроим о-го-го. А дворец... За тот дворец наши же с нас и спросят, почему не уберегли...

А чаще всего Яша отвечал своим друзьям коротко:

— Мы — разведчики, и за всякие глупости бросьте думать. Если каждый будет самовольничать, конспирации крышка, некому будет выполнять задания катакомбистов.

Но один проект, предложенный толстым, как луна, и белым, как пеньковая кудель, Зиновием Тормазаном, Яше пришелся по душе.

— Доброго здоровьечка, Хива — обратился как-то на улице Зиновий к Яше. — Я имею до тебя сказать пару слов.

— Привэз, Зинь! — ответил Яша, подражая говору Тормазана. — И за что ты мне имеешь сказать?

— За себя. Ты знаешь, за шью я смотрю одним глазом на белый свет?

— Знаю, Зинь. Вторым глазом ты выбил себе фурылкой, когда еще не ходил в школу.

— И знаешь, за шью Зиня Тормазана не приняли в комсомол?

— Дед Зиня Тормазана имел заезжий двор и чайную при нэпе.

— Хива! — воскликнул Зинь. — Ты знаешь за меня все, шью можно за меня знать. Только я и сам не знаю, по какой такой анкете меня в армию не взяли: кажись, за то, шью косой, а кажись, за то, шью имею такого предка. Так вот, клади себе в уши мои слова: за то же самое меня вместе с дедом румыны-завоеватели поставили кочегаром в дом офицерского собрания, который при Советской власти был Домом Красной Армии. Каждый человек, Хива, имеет свой интерес до жизни. У деда-нэпмана и его косоного внука есть свой интерес. Об этом не будем говорить. Пусть то горит огнем. Но если Хива достанет добрую пару шашек тола чи динамита, то Зинь Тормазап и его предок подсунут те шашки вместе с углем в топку котельной. И с офицерского собрания будем иметь шикарный новогодний фейерверк. Вы устроили иллюминацию на Маразлиевской в праздник годовщины Октября, я имею интерес устроить иллюминацию на Новый год. Кому этого мало, пусть тот, между прочим, горит огнем...

Яша не стал уточнять с Зинем, кто взорвал комендатуру на Маразлиевской, не стал и говорить ему о своих связях с подпольем: пусть Зинь думает то, что ему думается, выдать Яшу он не выдаст, а знать много ему ненужно. Но предложение Зиня имело смысл. Тем более что Яша хорошо знал Зиновия: скажет — сделает. И Яша сказал:

— Зачем нам, Зинь, гореть огнем? Пусть огнем горят фашисты. Добрую пару шашек я тебе достану.

Достану. Хорошо сказать! Как будто взрывчатка валялась на Дерибасовской или на Соборной площади. Яша и сам не знал, где добывают ее катакомбисты. Об этом, может быть, знал командир городского подотряда Петр Бойко. Он же — владелец слесарной мастерской. Он же — Старик.

Яша пошел к Старику.

Старик сперва сказал: «Подумаю». И думал очень долго. Целую неделю. А Новый год приближался. А Зинь уже все продумал и каждый раз при встрече с Яшей говорил, что видеть, как высшая сволочь фашистской армии безнаказанно забавляется в офицерском собрании, он не имеет сил. «Они ж там союз ветеранов деникинской армии организовали и общество памяти царя Николая. Это же свинство не убить их за это!» И еще говорил, что даже иудейский царь Давид в те древние времена, чтобы побить филистимлянина Голиафа, имел, между прочим, в руках ослиную челюсть. Ослиной челюстью фашистов, гори они огнем, не побьешь, нужны по меньшей мере шашки тола.

Яша снова пошел к Старику.

— Какие шашки? — удивился Старик. — Я тебя не понял, Яков.

— Вы меня не поняли, Петр Иванович, или притворяетесь, что не поняли? — закипая, спросил Яша. И сразу вспомнил: «Даже мачта сломалась бы, если б негнулась...» Набравшись терпения, он снова пересказал весь Тормазанов замысел.

Бойко досадливо двинул плечами.

— И чего тебе, Яков, не сидится? Дело свое ты делаешь, я тобой доволен. Бадаев — тоже... Чего тебе еще надо? Наше дело — не высываться, не подавать виду, что существуем. Помни: умная голова в гору не лезет. Ну хорошо, если удачно все будет... а если засыплется? Или ты думаешь, что сигуранца это что-то такое вроде дома отдыха — подержат и выпустят? Там быют, Яков. И очень больно быют. Мучают так, что тебе и в страшном сне не приснится.

— Петр Иванович, вы же обещали подумать...

— Да что ты пристал, Яков? Наше дело — разведка, а не...

С тем и ушел Яша от Старика.

Может, и в самом деле взрыв не дело разведчиков... Только как же так: на фронте небось, чтобы уничтожить десяток-другой вражеских офицеров, сколько наших людей жизнью рискует, на смерть идет. А тут... Зинь-то к разведчикам отношения не имеет. Но почему бы ему не помочь? Надо доложить Бадаеву и про Людвигов склад горючего, и про Зинев план. Уж Бадаев-то наверняка примет правильное решение. Для этого и отправился Яша срочно в катакомбы.

Бадаев ответил не сразу. Долго расспрашивал о Тормазанах, о том, как предполагает Зинь незаметно для охраны пронести взрывчатку в котельную, где спрячет ее, сумеет ли сам спастись от взрыва.

— Ты веришь ему, Яшко? — спросил Бадаев в упор.

— Как самому себе.

— Почему же в свою десятку не взял?

— Вот взорвет офицеров, тогда и разговор будет... Надо, чтобы другие ему тоже поверили.

Бадаев задумался.

«Нет, наверное, не придется взрывать офицерское собрание, — размышлял Яша, глядя на командира. — Уж больно дотошно расспрашивает обо всем Владимир Александрович... Значит, прав Старик. Ох и трудная штука это подполье — как по тонкому льду ходишь, того и гляди неосторожный шаг сделаешь и... бултых в воду!»

— Ну что же, удачи твоему Зиню, — неожиданно сказал Бадаев. — Пойдешь на Льва Толстого, найдешь комиссионный магазин господина Сливы, спросишь Богдана Некрасовича. Там дадут тебе взрывчатки сколько надо. А заодно...

Бадаев проинструктировал Яшу, что передать хозяину магазина и какие сведения у него взять, назвал пароли. А когда Яша уже собрался уходить, лукаво прищурился:

— А почему же ты Тормазанов план не доложил Петру Ивановичу? Неудобно командира обходить.

Яша замялся.

— Я докладывал...

— Ну и что же?

Гордиенко передал свой разговор с Бойко. Рассказал и о случае с Вольфманом.

Бадаев снова задумался. Посидел с закрытыми глазами, словно припоминал что-то, будто хотел представить себе спорящих — вспыльчивого, горячего, как необъезженный конь, Яшу и рассудительного, осторожно-го, спокойного Бойко. Оба не ангелы! Но Бойко уж больно нерешителен в последнее время. Надо бы пови-даться с ним или парторга Зелинского послать, выяс-нить, может, ободрить человека, а может, и хвоста на-крутить.

Бадаев встал, заложив руки за спину, пошагал взад-перед по огромной пещере, украдкой поглядывая на Гордиенко. Наконец подошел, сел рядом, взял Яшины тугие кулаки в свои широкие, сильные ладони:

— Не будем убивать козла, Яшко.

— Какого козла?

— Есть, видишь ли, такая сказка. Какой-то древний выращивал виноград. Каждый год лоза фуговала гус-тая да тонкая, гронки были мелкие, ягоды кислые. Как ни старался тот древний, сколько ни поливал, сколько ни удобрял, а лоза с каждым годом росла все тоньше, гронки все мельче, а ягоды все кислее, хирел и дичал виноградник, пустел винный погреб, разорялся, нищал хозяин... А тут, как назло, весной сорвался с привязи козел и начисто обглодал прошлогодние виноградные лозы — там, где было восемнадцать-двадцать почек, по одной-две осталось. Будто пожар прошел по виноград-нику, только старые пеньки торчат. Увидел хозяин та-кую шкodu, осви́репел и убил козла. Шкуру содрал, мя-

со съел, кости сжег, чтобы и памяти о вредном козле не осталось. Только смотрят люди, а на обгрызенных кустах из оставшихся почек пошли сочные да толстые лозы, гронки на тех кустах выросли тяжелые, тугие, ягоды крупные, сладкие. И начали с тех пор виноградарь каждую весну прошлогодние лозы обрезать на двести почки. И пошли с тех пор обильные урожаи винограда, в погребах — полно вина, в домах виноградарей — достаток. Поняли люди, что козел спас им виноградники от одичания, и поставили они тому козлу памятник из чистого золота, и каждый год в праздник урожая помнят того козла добрым словом... Так что — не надо убивать козла, Яшко. Учись верить товарищу больше, чем самому себе. Иначе нельзя... Может, излишне поосторожничал здесь Петр Иванович... Может быть... Разобраться надо.

12. Ради товарища

— Мальчики, пляшите! — вполголоса воскликнула Тамара, убедившись, что в мастерской нет никого постороннего.

Уж такая это девушка! Войдет в мастерскую — и словно светом ее озарит: глаза ребят загораются от ее глаз, будто свечи от жарких плошек, лица расцветают улыбками от ее улыбки, ровно цветы от вешнего солнца. Сразу становится теплее, уютнее, уплывают куда-то в сторону пережитые невзгоды и огорчения, становятся несущественными, постепенно исчезают, тают, как дым в утреннем воздухе. И сама она словно с вечеринки пришла, а не ползла через кордон, не брела по грязи и снегу степным бездорожьем, где ни колесу, ни полозу ходу нету.

— Какие новости, Тамара? — закрывая дверь на за-
сов, спросил Алексей.

— Самые хорошие, мальчики! — разматывая мок-
рый платок, смеется Шестакова. — Только у нас на «Ту-
апсе» обычай такой был: прежде чем получить письмо,
моряк сплясать должен. Ну, кто начнет?

Она уже сняла забрызганные грязью боты и исхле-
станное мокрым снегом пальто, греет озябшие пальчи-
ки у крохотной печурки, упавшие прядки смоляных во-
лос резко подчеркивают белизну чуть порозовевшего
лица, и она кажется Яше еще более красивой, чем то-
гда, во время танца в катакомбах.

— Не томи, рассказывай. Танцевать все равно не бу-
дем: во дворе горе — во время ночной облавы две се-
мьи угнали в гетто... Зямка Рубин бежать хотел — при-
стрелили в подворотне, сволочи...

— Вон как! — Тамара выпрямилась, отбросила
с лица смоляные прядки, горячие огоньки утонули
в больших бездонных глазах. — Павел велел передать
благодарность вам. Москва сообщила, что наша авиа-
ция уничтожила под Первомайском крупный немецкий
склад горючего... И на Кодыме парк грузовых автомо-
билей сожжен на сорок-пятьдесят процентов.

— Ювелирная работа! — воскликнул Алексей. —
Вот тебе и Людвиг!

— Да, немец немцу рознь, — покачал головой Хо-
рошенко. — Один в детей ни за что стреляет, другой
фашистов бить помогает. И на дереве лист на лист не
приходится.

— А это читайте сами, — передала листок бумаги
Яше.

— Да тут просто сводка Совинформбюро, — вертел
в руках листок Яша. Потом спросил у Тамары: — Мо-
жет, Владимир Александрович передал, чтобы мы раз-
множили и распространили среди населения?

— Можно и распространить, — улыбнулась Тамара. — Но ты прочитай сводку вслух, особенно вторую часть.

— «Группа самолетов одного нашего авиационного подразделения, — читал Яша, — действующего на Южном фронте, успешно атаковала крупную мотоколонну противника. Бомбами и пулеметным огнем уничтожено 129 немецких автомашин и до двух батальонов вражеской пехоты».

— Молодцы летчики! — захолопал в ладоши Хорошенко. — Это же все равно что на фронте бой выиграть. Даже лучше: наших-то потерь совсем нет! Вот что значит авиация!

— Мальчики! — рассмеялась Тамара. — Милые вы мои! Это же ваша работа, это же летчики ударили по той дивизии, что двинулась было по Николаевскому шоссе, а вы предупредили Москву об этом. Владимир Александрович так и сказал: передай ребятам, что это они бой выиграли.

— Мы? — изумился Яша. — Постой, постой... Это же Варвара Алексеевна о дивизии... Хлопцы! А ведь вправду это наших рук дело!

— Дайте я вас, Тamarочка, поцелую! — крикнул Алексей.

Тамара погрозила ему пальцем:

— Ишь ты, целовальник нашелся.

— Да я с радости, — покраснел Алексей. — Просто от счастья. За то, что вы такую весть нам принесли...

— Глянь на него! — захохотал Шурик. — Ай да Леха! Еще и цену своим поцелуям набавляет, хоть вместо орденов их выдавай!

Все засмеялись. Прямо опьянели от радости. Кажется, впервые после того, как в город пришли фашисты, они так смеялись. Даже злая метель за окном теперь, казалось, пустилась в пляс... Только Алексей сконфу-

женно и обиженно смотрел на товарищей. Его смущение заметила Тамара. Она подошла к Алексею, шепнула:

— Не злись на них.

И неожиданно поцеловала.

...Передать динамит в котельную офицерского собрания Яша не успел. Зинь не явился ни в тот, ни в следующий день. А когда Гордиенко пошел к нему на квартиру, его встретила рано поседевшая Зинева мать:

— Ой, нема Зинця, нема моего ясного! Люди добрые, посмотрите, что я имею заместь сына!

Она показала официальную бумажку из полиции. Мадам Тормазан предлагалось немедленно забрать тело своего сына из полицейского участка.

Пришибленной птицей металась она по комнате. То хватала косынку, чтобы повязать растрепавшиеся серые с желтизной косы, то совала ее себе в рот, чтобы хоть как-то приглушить рыдания.

Яше стало не по себе. Он хотел было незаметно уйти, но в дверях столкнулся с дедом: голова совсем белая, а вместо лица — кусок желтого воска, изрезанного нитками морщин.

— Ой, горе! — простонал дед, в отчаянии поднимая к выцветшим глазам потрескавшиеся, изъеденные угольной пылью ладони. — Нечем привезти Зиня. Был Зинь жив — всем был нужен, а теперь никто не дает подводы, никому нет дела до мертвого тела...

Эти слова будто кипятком ошпарили Яшу: был жив — нужен был, а теперь...

Яша не сказал деду ни слова (а что можно было сказать!), выскочил на улицу, кинулся к знакомому извозчику.

— Семен Иванович, дайте бричку на полчаса.

— Что тебя так приперло?

Яша рассказал о Зине.

Извозчик вначале сочувственно присвистывал, но ко-

гда Яша сказал, что надо съездить в полицию за трупом, начал выкрикивать такие затейливые ругательства, что все одесские биндюжники позеленели бы от зависти.

— Пропади они пропадом — этот шарабан и эти клячи, но я в полицию не поеду! Ты меня еще в сигуранцу или в гестапо пошли! На моей шее семеро голодных внуков — отцы и матери заваялись куда-то еще в дни обороны, и я не хочу, чтоб эти сироты остались еще и без деда.

Он слез с брички и, зло чертыхаясь, швырнул Яше кнут.

— Можешь ехать хоть в самое пекло, но я — в стороне!

Яше некогда было раздумывать. Он взобрался на облучок и тронулся к Зиневу дому.

— Смотри, хлопец! — крикнул Яше вслед извозчик. — Загубишь коней — сирот оголодишь! Нам без них хоть в море топись!

Только когда Зинева мать села в бричку, Яша понял, что сделал глупость — не надо было ему впутываться в эту историю, подвергать себя риску. Но теперь уже лошадей не бросишь и Тормазаниху из брички не высадишь. «Эх, попадет мне от Владимира Александровича, по самую завязку попадет!» И тут же вспомнил горькие слова старого Тормазана: «Был Зинь жив — всем был нужен, а теперь...» — и мольбу извозчика: «Загубишь коней — сирот оголодишь!..» Яша стегнул кнутом по коням.

— Но, дохлые!

Кто-то на улице после комендантского часа ударил Зиновия Тормазана камнем по голове. Полицейские нашли его в луже крови. Документов при Зине не обнаружили, в сознание он не приходил, так двое суток и провалялся среди неопознанных тел, пока знакомый поли-

цейский не признал. Этот же полицейский и подошел к бричке, как только она подъехала к участку.

Яше показалось, что полицейский ждал бричку. Он даже не дал ей остановиться, на ходу вскочил на подножку так, что рессоры прогнулись и бричка мягко накренилась, как шлюпка на воде.

— Проезжай мимо, парень. Здесь останавливаться конному транспорту запрещено, — громко сказал он Яше, отбирая из рук вожжи.

— Она за телом сына, — показал Яша на убитую горем женщину, горбившуюся на заднем сиденье.

— Знаю.

Это был пожилой мужчина с рыбацким, выдубленным ветрами лицом и тусклыми глазами под колючими рыжими бровями. Такая же рыжая щетка усов прикрывала тонкие, плотно сомкнутые губы. Мышиного цвета полицейская униформа мешком сидела на его худом, костистом теле. Когда отъехали с полквартала, не глядя на Яшу, спросил:

— Якова Кондратьевича сын, что ли?

— Да.

— Не ввязывайся другой раз не в свое дело. Пусть Тормазаниха сама хлопочет, она — мать, пожилая женщина, с нее взятки гладки. А тебя, дурня, либо в полицию заставят работать, либо в Германию угонят.

— А где Зинь? — нетерпеливо спросил Яша.

— Зиновий жив. Сегодня очухался, в себя пришел. Теперь его матери не отдадут. Отправили в больницу на Херсонскую улицу. Туда без пропуска ходу нет, там все подследственные лежат. Пусть Тормазаниха прошение Борисову подаст на пропуск.

Полицейский огрел лошадей кнутом и, ткнув вожжи Якову в руки, соскочил с брички.

— Проваливай отсюда! — закричал он на Яшу. — Следующий раз появишься здесь, тарантас отберу и

тебя в каталажку запру. Таких одров на живодерню гнать, а не на проезжую улицу! Парадка не знаешь, собачий сын!

Яша стегнул кнутом по сухим, как витринные муляжи, крупам лошадей и повернул в переулок. «Ой, не одобрил бы Владимир Александрович эту авантюру!..»

— Ну что? Допрыгались, доигрались?! — накинулся на Яшу Бойко. — Я ж тебя предупреждал: не связывайся с Тормазаном.

Заложив руки за спину, Петр Иванович нервно ходил по комнате.

— Вот теперь прижмут твоего Тормазана, он и расколется. Что тогда будет?

— Тормазан никого, кроме меня, не знает, и я ему ничего об отряде и о вас не говорил, — успокоил его Яша.

— Ну, а если? Если тебя арестуют?

— Будьте уверены, не выдаст.

— А если в бреду расскажет?

— Если что, то за меня не волнуйтесь, я-то уж никого не выдам.

— Вот так, наделаете глупостей, а мне, командиру, расхлебывай.

— Да что вам расхлебываться, вы сном-духом о Тормазане не знаете.

— Видишь, какой ты! — укоризненно сказал Бойко, останавливаясь перед Яшей. — Товарищ попал в беду — и ты уже готов откреститься от него. Так подпольщики не поступают.

Яша даже рот раскрыл от удивления: это его-то Бойко упрекает! Нет, Яша, конечно, и не думает оставлять Зиня в беде, но чем, собственно, можно помочь теперь Зиню?

— Надо выручать Тормазана, — продолжал Бойко уже почти спокойно. — Да, да, выручать. Конечно, не

сейчас, а когда он немного очухается, чтобы можно было переправить его в катакомбы. Вот тогда ты да Николай Шевченко со своими десятками и нападете на больницу. Охрана там небольшая, от полицейского участка далеко и, если операцию провести с умом, выручить твоего дружка не так уж и трудно будет.

Яша знал Николая Шевченко — смелого, немного замкнутого инженера, о котором еще до войны ходила молва, что он бежал в Советский Союз из-за Днестра. Так же как и Гордиенко, Шевченко был командиром десятки, и Яше не раз приходилось бывать в его свечной мастерской. По условиям конспирации Яша не знал людей, входивших в десятку Шевченко, но, судя по тем заданиям Бадаева, которые Яша передавал молчаливому инженеру, это были смелые ребята.

— Но когда Зинь начнет поправляться, — забеспокоился Яша, — не будут же его держать до полного выздоровления? Раз к подсудственным отправили, будут допрашивать. Пока мы соберемся, его замучают, в тюрьму запрячут.

— Ты умница, Яша. У тебя золотая голова! Надо в больнице иметь своего человека. Верно? Это я поручу Садовому. У него там знакомый врач, и с больничным завхозом Алексей когда-то был по петушкам. Только надо бы Садовому пропуск добыть, чтобы охрана к нему не цеплялась. Может, сведешь его со своим знакомым из полиции?

Яша отрицательно покачал головой. Нет, с Фимкой он никого знакомить не будет — есть на то строгий запрет Бадаева. Именно Фимке, которого никто из подпольщиков, кроме Яши, и знать не знал, многие разведчики и связные были обязаны ночными пропусками. Бежавшие из плена и гетто, из эшелонов, увозивших молодежь в Германию, получали различные справки, визы на жительство, а иногда даже ордера на жилпло-

щадь. Яша передавал эти документы Бойко, тот — командирам десятков, но где брал их Яша, никто, кроме Бадаева, не знал, никто и не допытывался.

— Нет, не сведу, — покачал головой Яша. — Пропуск постараюсь достать, а сводить не буду.

— Ради товарища-то можно бы и свести, они бы ловчее столковались, — заметил Бойко.

— Нет, — решительно сказал Яша и вышел из комнаты.

13. Черные дни

Конец декабря и для катакомбистов и для их городских разведчиков принес немало бед.

Отчаявшись прорваться в катакомбы, оккупанты подтянули в Нерубайское, Усатово, Куяльник и Кривую Балку артиллерию и трое суток гвоздили снарядами по входам в штольни. Потом согнали местных жителей, под дулами автоматов и пулеметов заставили их замуровывать все входы, засыпать песком и камнями все щели, все воздушные и водяные колодцы. Оставили только небольшую щель рядом со штольней первой шахты в Нерубайском. На рассвете четвертого дня сюда прибыла на грузовиках немецкая химическая рота. Солдаты в защитных комбинезонах сгрузили баллоны и компрессорами начали нагнетать под землю хлорный газ.

Заживо похороненные на глубине 45—50 метров катакомбисты в противогазах, изнемогающие от усталости и отсутствия воздуха, строили газонепроницаемые перегородки, ломami и кирками пробивали в толще земли и камня отдушники и сквозняки, пилами выпиливали в камне новые проходы в пустые многокилометровые штольни, боролись со сном, потому что спать было некогда; боролись с голодом, потому что продукты оказа-

лись замурованными в штреках, наполненных газом; боролись с подпочвенными водами, которые мощным потоком хлынули в штольни из потревоженных взрывами рудников. Боролись в темноте, потому что керосиновые фонари пожирали остатки кислорода, чадили и гасли. Тела катакомбистов покрылись липким потом. Легкие их шуршали, как сыпучий песок. Руки кровоточили. Глаза выходили из орбит. Мutilось сознание...

Радисты не могли вынести на поверхность рацию.

Связные не могли вырваться из подземелья.

Связь с Москвой и городом оборвалась...

А в городе лютовали метели и бушевали каратели. В свист и вой ветра вплетались стоны и крики, в снежные вихри — седые волосы женщин и пух вспоротых во время облав подушек. Опасно было выйти на улицу не только после комендантского часа, но и средь бела дня. Толпами гнали людей: на Слободку — в гетто, по Николаевскому шоссе — на смерть.

Только к январю катакомбисты отвели газы в необитаемые подземелья, остановили воду, пробились к воздуху, в город пришли первые связные. Надо было восстанавливать связи с уцелевшими подпольщиками в городе, в порту, на железной дороге.

Петра Бойко и Яшу Гордиенко вызвали в катакомбы. При разговоре Бадаева со Стариком Яша не присутствовал, но, когда его позвали в штабную пещеру, Петр Иванович сидел красный и потный. Парторг Зелинский говорил ему, очевидно, продолжая давно длившийся разговор:

— Ты же коммунист, черт возьми, понимать должен!

Владимир Александрович возбужденно ходил по штабной пещере. Увидев Яшу, Бадаев сразу выключился из разговора, увел его в дальний угол.

— Как дела, Капитан? Москва тебе привет шлет и просит помощи.

Заметив тельняшку под расстегнутым ватником, спросил:

— Ты рябчик и в городе носишь?

— Что вы, дядя Володя! За это расстреливают без суда и следствия.

— К нам шел, нарядился?

— Ага, — покраснел Яша.

— Как здоровье отца?

— Болеют батя.

— Врачу надо показать. Обязательно. Если деньги для этого нужны, не стесняйся, дадим.

— Смотрели их уже доктора.

— Ну?

— Не поднимутся батя...

Бадаев обнял его, присел рядом на каменную скамью, внимательно слушал, подперев щеку левой рукой.

— Скажи мне, Яшко, ты вправду уничтожил тогда удостоверение Николая Бакова, когда тебя зажали на Базарной?..

— Что за вопрос? Съел.

— Может, не съел? Может, выбросил? Не могло оно попасть в чужие руки?

— Ну что вы, дядя Володя! Я же тогда желудок засорил, неделю маялся.

— А как же Фимка выкрутился?

— Ха! Этот кадр из воды сухим выйдет! — засмеялся Яша. — Заявил своему начальнику, что, мол, забыл удостоверение в брюках и отдал в стирку. Принес ему в оправдание комок размокшей бумаги, так спрессованной, что там никакая экспертиза не помогла бы. Потеха!

— И Борисов поверил?

— Поверил! Ему, видать, самому невыгодно было предавать эту историю огласке, да и Фимка у него в доверии. Новое выдал, такое же.

— А откуда же это взялось, Яшко? — Бадаев вынул из внутреннего кармана сложенную вчетверо бумажку и подал Яше. Это было удостоверение на имя сотрудника полиции Николая Бакова, переданное недавно Яшей Петру Бойко для Садового.

— Где вы его взяли, дядя Володя?

Бадаев нахмурился, как всегда, когда нервничал, сощурил глаза.

— Его передал нам надежный человек из полиции. Нашел в кармане пьяного Садового, подобранный полицейскими на улице.

— Вот собака! — не выдержал Яша.

— Спокойно, Яша, — взял его за руку Владимир Александрович. — Об этом никто не должен знать. Даже он, — Бадаев скосил глаза на Бойко, который по-прежнему в чем-то оправдывался перед Константином Николаевичем Зелинским.

— Садового надо гнать из отряда! — вспыхнул Яша.

— Цсс, — строго сжал его руку Бадаев. — Слушай мой приказ. Есть подозрение, что Садовой проданся сигуранце. Надо проверить, выследить, где бывает, с кем встречается. Это тебе боевое задание. Только смотри, без моего разрешения никаких мер не принимай, а то дров наломаешь, и себя, и всю группу провалишь. Все, что выяснишь, докладывай мне немедленно.

— А Фимка? — заволновался Гордиенко. — Надо срочно вернуть ему удостоверение, Борисов может кинуться...

— Поздно, Яшко. За Николаем Баковым гестапо уже установило слежку, хотя даже балбес Борисов об этом не догадывается. Фимка должен исчезнуть.

— Как исчезнуть? — испугался Яша. До сих пор «исчезали» только предатели по приговору суда командиров партизанского отряда.

— Сейчас вы с Бойко вернетесь в город, — спокой-

но продолжал Бадаев. — Поведет вас Тамара. И с нею Фимка должен прийти в катакомбы. Ты с ребятами обеспечишь, чтобы за ними не увязался хвост.

— Но Фимка... — побледнел Яша. — Он же туберкулезник, он же загнется здесь...

— Другого выхода нет, Яшко. Может, нам удастся потом спрятать его в Савранских лесах.

14. По следу

В дни обороны, когда отряд только готовился к подполью, Садовой был заместителем Бойко по подготовке складов оружия, конспиративных квартир и запасов продовольствия.

Но как только вошли в город оккупанты, Садовой старался не встречаться с подпольщиками, а после того, как полиция подобрала Садового пьяным на улице, он вовсе перестал появляться на Нежинской. Выследить, куда он ходит, оказалось не так трудно: кроме братьев Гордиенко, Садовой никого из ребят Яшиной десятки в лицо не знал, а его, долговязого, в сивой папахе и длинном коричневом пальто, из-под которого спускались до самой мостовой широкие серые брюки, трудно было спутать с кем-либо из прохожих. Через несколько дней Саша Чиков доложил Яше:

— Садовой днюет и ночует в бodega Латкина.

О ресторане на Дерибасовской Яша знал. Его открыл в первые же дни оккупации какой-то бывший буфетчик парохода, курсировавшего по крымско-кавказской линии. Сам буфетчик в ресторане не бывал — он завел себе пару серых в яблоках жеребцов и разъезжал по Одессе в рессорном фаэтоне рядом с высокой блондинкой, известной всему городу Верочкой Церм.

Всеми делами в ресторане вершил Всеволод Латкин. Поэтому одесситы ресторан называли просто «бodega Латкина».

— Но в самую бodega нам попасть не удалось, — добавил Шурик Хорошенко. — Туда пускают только румын да наших черношкурых — полицаев.

Как же попасть в бodega? Как узнать, что там делает Садовой, с кем бражничает?

Яша с Чиковым прошлись раз-другой у входа в ресторан. Нет, не пустят! Мало того, можешь впутаться в неприятную историю, а того хуже — заметит Садовой и догадается, что за ним следят. Надо что-то придумать...

Размышляя, какой бы найти предлог для посещения ресторана, когда там будет Садовой, ребята остановились у афишной тумбы, сплошь заклеенной разноцветными раскисшими рекламами, размокшими приказами оккупационного начальства, объявлениями. Одно из объявлений, видно, только что наклеенное — чернильные буквы не успели еще расплзтись под тающим снегом, — привлекло внимание ребят.

— «Ресторану «Южная ночь» требуются красивые официантки», — прочитал Яша.

— Гм... — ухмыльнулся Саша. — «Южная ночь» — это и есть бodega Латкина. Жаль, что я не девушка, вот бы я тебе, Капитан, информацию оттуда доставлял — пальчики оближешь!

— Чиков! Ты — голова! — схватил его за рукав Яша. — Пошли! Есть идея!

— Точно?

— Как в геометрии! — рассмеялся Яша. — Иди в мастерскую, я сейчас.

Он помахал Чикову рукой и свернул в Красный переулок.

После ухода Фимки в катакомбы Лена осталась со-

всем одна. Яша навещать ее не мог — за Фимкиной квартирой установлена слежка. По четным числам встречались на ближней скамейке городского сада. Яша приносил ей что-нибудь поесть. Сидели, как на витрине, на виду у всей Дерибасовской или ходили по мастерским и магазинам, в которых Лена безуспешно пыталась устроиться хотя бы уборщицей.

— Ли, — сказал Яша, — надевай свое лучшее платье, пойдем в ресторан.

— Чумной, — улыбнулась Лена, — разве ты получил наследство от турецкого султана или король Михай признал тебя своим племянником?

Яша рассказал Лене свой замысел. Она немного стухнула, но взяла себя в руки:

— Мне с тобой, Капитан, ничего не страшно. Кроме тебя, у меня теперь никого нет.

— Не надо паники, Ли, — подбадривал ее Яша. — Придет время, и Фимка будет с нами.

— Нет, — вздохнула Лена. — Фимка погиб, катакомб он не вынесет. Теперь ты у меня один, Капитан.

Яша несмело погладил льняные мягкие волосы. Хотелось сказать ей что-то ласковое, что-то такое, чтобы она перестала грустить, чтобы рассмеялась так, как она смеялась при Фимке. Но Яша никогда не говорил девочкам ласковых слов, не знал, как их говорят, и поэтому только прикасался кончиками пальцев к ее волосам и краснел, краснел, как на первом школьном экзамене. Молчание становилось тягостным, и он решил нарушить его.

— Ну как, пойдем к Латкину?

— Латкин? Откуда он, этот Латкин? Не тот ли это Латкин, что был директором детского дома?

— Какого детского дома?

— Я ж тебе рассказывала, что после смерти отца мать отдала меня в детский дом.

— В Одессу?

— Да. Я была два года. Потом мама поправилась и снова забрала меня к себе в Москву. О Латкине говорили, что он был денikinским офицером... Но...

— Что «но»?

— Но мы любили его. Он был ласков и заботлив.

...Облавами и погромами оккупанты загнали обывателей в темнушки холодных квартир. Жилые кварталы опустели — тот, кто не успел эвакуироваться или уйти в село, не был угнан в гетто или арестован, боялся показаться на улице. Мрачно качались окоченевшие деревья. Угрюмо бродили патрули. Жуткую, настороженную тишину изредка нарушали только пронзительные сигналы бешено мчащихся грузовиков с солдатами да вопли, доносившиеся из домов, где шли облавы.

Только в самом центре, на Дерибасовской, людно и шумно. Вся уголовщина, выпущенная из тюрем, вся нечисть и старорежимное отребье, десятилетиями ждавшие «конца Советов», все подонки — пропойцы, босяки и сутенеры, карманные вору и спекулянты — сползлись сюда в поисках легкой добычи и дешевых удовольствий, смешались с приехавшими из Румынии дельцами, коммерсантами, авантюристами, мародерами и перекупщиками награбленного, кружились, как осы вокруг гнили, у гостиниц, ресторанов и офицерских притонов, торговали порнографическими открытками, самодельными картами и календарями, снотворным, морфием, кокаином, духами, совестью и достоинством, ржали, хихикали, подобострастно улыбались нарумяненным румынским офицерам и надменным чиновникам, заискивающе лепетали любезности румынским сестрам милосердия, одетым в короткие шубки и повязанным газовыми шарфиками, из-под которых просвечивали белые косынки с красным крестом. Немецкая, французская, румынская, итальянская, русская и украинская

речь, изысканно чистая и до неузнаваемости исковерканная, смешанная с одесским жаргоном, сплетались в один непостижимый гомон. Среди этого сонмища шмыгали разбитные лоточники-подростки в отцовских картузах и маминых кофтах и, коверкая чужие, незнакомые слова, упрашивали военных и штатских румын!

— Повтым, домнул, а кумпара тутун. Пожалуйста, господин, купите табак.

— Дуте ла дракуле, гемана! Пошел к черту, босяк! — спесиво бросал оккупант и проплывал мимо.

Один из таких лоточников чуть не сбил Яшу с ног у входа в ресторан Латкина.

— Кавалер, купите сигареты! Ароматные, румынские, болгарские! Хотите пачкой, хотите на россыпь: лея штучка, три леи кучка, в кучке три штучки... Капитан, — прошептал Чиков в самое лицо, — он здесь.

— Поди прочь! — нарочито развязно отмахнулся Яша. — Не видишь, с дамой иду.

Сразу за дверью пахнуло пряным теплом, сытной пищей, вином, табачным дымом, оглушило пьяным шумом, звоном посуды, разноязыким говором, ударило в глаза сиянием люстр, стекла, надраенной меди, полированного дерева. Прямо против входа — широкая стойка буфета, за которой громоздились полки с бутылками и закусками на тонких тарелках. Налево — дверь, должно быть, в кухню, и вешалка: ряды зеленых, серых, темно-желтых и черных шинелей. Направо — просторный, доверху набитый дымом и гоготом зал.

— Нам к господину Латкину, — с достоинством кинул Яша огромному чернобородому, сверкающему золотой канителью швейцару.

— Всеволод Ипатыч, к вам! — возгласил чернобородый.

Из-за стойки вышел высокий, подтянутый, длинно-

лицый, бритоголовый мужчина в пенсне и белой накрахмаленной куртке.

— Чем могу? — чуть наклонил голову.

— Мы по объявлению... — спокойно начал Яша.

— Не понимаю, — еще ниже склонилось холеное лицо.

— Вот она хочет поступить официанткой.

В это время к стойке подошла одетая, как танцовщица из кордебалета, девушка с подносом, постучала вилкой о пустую бутылку.

— Минутку. Присядьте вон там, — показал он рукой на плюшевый диванчик возле вешалки и, резко повернувшись, ушел за стойку.

— Он, — прошептала Лена. — Никогда бы не подумала.

Яша, сколько ни всматривался в сизый табачный дым зала, так и не смог разглядеть ни одного знакомого лица.

— Итак?.. — подошел снова бритоголовый.

Яша и Лена встали.

— Мы прочитали объявление, что вашему ресторану требуются молодые официантки.

— Красивые, — поправил бритоголовый.

— Всеволод Ипатьевич, вы меня не узнали? Я Леночка Бомм, — чуть слышно сказала Лена.

Он снял свое великолепное пенсне, протер безукоризненно чистым платком. Глянул на Лену усталыми, как у старой лошади, глазами:

— Я вас не знаю, девочка. Вы меня тоже.

— Ну как же, Всеволод Ипатьевич...

— Я вас не знаю, девочка, — повторил Латкин, внимательно оглядывая ее с ног до головы.

Надел пенсне.

— И в официантки вы не годитесь.

— Всеволод Ипатьевич, мне надо, — жалобно по-

просила Лена. — Примите, я все-все буду... буду стараться.

— Господин Латкин, — вмешался Яша, — у нее умерла бабушка, и сама она умирает с голоду, нигде не может устроиться...

— Нельзя, — решительно и холодно отрезал Латкин. — Ни одна воспитанница детдома в «Южной ночи» работать не будет. Здесь надо не только подавать, но и обслуживать господ... Вы понимаете?

— Понимаю, — бледнея, ответила Лена. — Примите меня.

— Разговор окончен, господа, — слегка поклонился Латкин.

Яша и Лена стояли в нерешительности.

— Вы голодны? — вдруг обернулся к ним Латкин, направившийся было к буфету. — У входа освободился столик. Можете зайти, заказать себе пива и жареную скумбрию. Только снимите пальто.

Он подошел вплотную и сунул Яше в руку несколько мягких бумажек.

Не успели присесть — к столику подошла официантка. Убрала лишние стулья, поставила на стол тарелку хлеба, крупно нарезанную ветчину, скумбрию, глиняный кувшин с пивом. Яша хотел сразу же расплатиться, но она презрительно повела густо накрашенными бровями:

— Уже уплачено, племяннички.

Яша и Лена молча переглянулись.

За соседним столиком спали, уткнувшись лохматыми головами в посуду, какие-то двое, должно быть полицейские. Напротив, через проход, сдвинув вместе столики, целый взвод румынских солдат пьяно и нескладно пел песню о том, что Украина богата хлебом, молоком и красивыми девушками, что им есть чем поживиться.

Кто-то ругался, кто-то хохотал, визжала какая-то женщина — и над всем этим взахлеб всхлипывала скрипка, задыхалась труба, хрипел саксофон, звенели, как черепки разбитой посуды, литавры.

Яша вначале сел на стул, стоявший у стенки, чтобы хорошо видеть весь зал, но через минуту попросил Лену, сидевшую напротив:

— Ли, давай поменяемся местами.

— Зачем, Капитан?

— Не спрашивай. Быстро садись на мое место.

Лена повиновалась. Усевшись спиной к залу, Яша наклонился к ней и прошептал:

— Вон там, в углу, правее оркестра, сидят двое, шепчутся. Видишь?

— Вижу.

— Один плюгавый, лицо что сушеная груша. Нос хрящеватый, крючком. Видишь?

— Да, вижу.

— А второй — долговязый, стриженный, с тупым лицом и мясистыми губами?

— Да.

— Это Садовой. Он не должен меня видеть. А ты следи и, если Садовой соберется уходить, скажи мне... Только не таращи глаза и со мной говори веселее, мы же в ресторане.

Яша налил по бокалу пива.

— За любовь.

И чуть не поперхнулся от смущения. Хорошо, что в зале стоял такой галдеж и гремела музыка, — никто не обращал на Лену и Яшу внимания.

За столиком справа от оркестра пили и шептались долго, пока Алексей Садовой совсем не опьянел. Тогда плюгавый подозвал официантку.

— Он расплачивается, — улыбаясь, прошептала Лена.

— А Садовой?

— Уронил голову на стол. Кажется, готов... Подожди... Официантка еще налила стопку и поставила возле Садового... А плюгавый... Плюгавый пить не стал. Он уходит. Яша, он идет к выходу.

Яша завернул в салфетку недоеденную ветчину:

— Пойдем, Ли.

На улице их снова встретил шустрый лоточник с сигаретами. Яша кивнул ему на плюгавого и, подхватив Лену под руку, пошел в сторону Соборной. А лоточник кинулся к плюгавому, собравшемуся пересечь Дерибасовскую:

— Господин, вы забыли купить сигареты! Лучшей марки: румынские, болгарские, германские — какие хотите, такие купите!

— Пшел вон! — буркнул господин.

— Иду вон! — ответил лоточник и подморгнул стоявшему в сторонке Алексею Гордиенко.

Алексей пошел через улицу рядом с плюгавым.

Они шли почти рядом до самой Пушкинской: невзрачный человек в добротном драповом пальто, фетровой шляпе и молодой подвыпивший парень в серой кепке, надвинутой на глаза, и короткой куртке с поднятым воротником. Дальше невзрачного господина сопровождал Шурик Хорошенко — Алексей вернулся к ресторану, где Чиков еще караулил Садового. Хорошенко видел, как человек в шляпе миновал гипсовых атлантов, поддерживающих балконы гостиницы, и направился к сигуранце на Бебеля, 12.

— Горим и пахнем жареным! — сказал Хорошенко, возвратясь в мастерскую. — Если продал, многие пострададут. Надо сматываться.

— Надо ликвидировать, — предложил Чиков.

— Не горячитесь! И никому ни слова, — приказал Яша и начал собираться в катакомбы.

...Бадаев, как обычно, сидел на вытесанном камне, опершись на колени локтями. Он то складывал ладони вместе, то разводил их в стороны и пристально смотрел на сидевшего рядом Яшу: с каждым заданием взрослеет парень, набирается мужества, хладнокровия, выдержки. Всего несколько месяцев прошло — и нет уже капитана Хивы, восторженного романтика, мечтающего о бескрайнем море и дальних походах. Есть Яков Гордиенко — командир молодежной группы партизанской разведки и его личный связной. Правда, чтобы быть хорошим командиром, недостаточно одной смелости, надо владеть тактикой, надо непрерывно изобретать все новые и новые неожиданные для оккупантов ухищрения, приемы, удары. Ум и сообразительность для командира разведчиков нужны, пожалуй, больше, чем для других людей. Конечно, больше. Ведь за каждый промах, за каждую ошибку разведчик расплачивается жестоко и немедленно. Ум и сообразительность у парня тоже есть. Зреет Гордиенко быстро — попробуй тут не зреть! — но прежней горячности в нем еще много.

— Вот что, Яков Яковлевич, — впервые назвал он юношу по имени и отчеству. — Вина Садового доказана не только твоим донесением. Партизанский суд приговорил предателя к смерти.

15. «То, что должен совершить я...»

В мастерской остались трое — Хорошенко еще с вечера ушел на Большой Фонтан на связь с рыбаками. У Яши работа не клеилась: валились из рук напильники, стыл паяльник, не держали деталь тиски.

— На тебе лица нет, Яшко. Пошел бы поспал лучше, — предложил Алексей.

Но Яша только отмахнулся от него. А когда наступили ранние зимние сумерки, зло швырнул в угол старую горелку, с которой весь день морочился, вытер ве-
тошкой руки, подошел к Чикову:

— Пойдешь сегодня со мной к Садовому.

И Чиков и Алексей знали, зачем надо идти к Садовому. Тот и другой были готовы к этому, но тот и другой думали: только бы не мне. Нет, они не трусили. Но одно дело вступать в открытый бой с патрулем, как тогда на Базарной, и совсем другое — прийти и убить... своими руками... Руки Алексея привыкли к тонкой, ювелирной работе, к прохладе металла и теплоте паяльника. Что же касается Чикова, то мысленно он расправился уже со множеством мерзавцев, а живой крови так и не видывал. Он понимал, какое зло может причинить Садовой всему отряду — может, уже и предал всех, — он холодно, обдуманно ненавидел предателя и первым сказал: «Надо ликвидировать...» И все-таки убить своими руками... Саша почувствовал приступ отвратительной тошноты. Спросил чужим, неприятно дрогнувшим голосом:

— Когда?

— Сейчас... Как только совсем стемнеет.

Саша посмотрел на свои вымученные долгой болезнью слабосильные руки и сказал, как когда-то Яша:

— То, что должен совершить я, должен совершить я, а не кто-то другой...

И хотя он уже принял решение, легче ему не стало: его выдавали белые худые пальцы, стряхивающие несуществующие пылинки с пиджака, бегающие глаза, необычная бледность, подергивание губ.

Алексею и Яше стало неловко смотреть на Чикова — может быть, потому, что они тоже мучились таким же смятением, только умели тайть его в глубине души, не позволяли ему проявиться. Они стояли, поту-

пив глаза, тяготясь наступившей тишиной и боясь нарушить ее.

Нудно тянулись минуты. Через заснеженное окопце медленно вползала ночная темень. Яша хотел было уже скомандовать «Пора!», когда в мастерскую влетел комар. Его писк, вначале еле слышный, становился все назойливее, противнее, мучительнее, будто ввинчивался в уши, превращался в свист, в звон, в гул... Яша удивленно посмотрел вверх: откуда в январе взяться комару? И в то же мгновение почувствовал, что все вокруг — старые примусы и жестянки на полках, инструмент на верстаках, каменные стены и даже сама земля — дрожит мелкой дрожью от этого гула.

— Что случилось? — спросил в темноте Алексей.

Яша не ответил, а только подумал: это самолеты. Наши, советские самолеты! По ночам над городом патрулировали самолеты «эскадрильи Муссолини», но они так не летают. Это наши! Сейчас начнется бомбежка. Первая бомбежка советских самолетов, которую Яше доведется пережить...

Во дворе захлопали двери, зазвучали возбужденные голоса. Все поняли, чем грозит этот нарастающий гул в черном беззвездном небе.

— Самолеты? — снова спросил Алексей.

И на этот раз Яша ничего не ответил брату. Он думал о Чикове. А что если Саша не выдержит, надломится от страха и откажется от задания?.. Нет, никогда. Никогда! Яша этого не допустит! Саша не может, не должен, не имеет права так поступить. Саша — друг! Сашу он рекомендовал в отряд, ручался за него, как за самого себя! Если Саша откажется от слов: «То, что должен совершить я, должен совершить я», он предаст дело, он станет... Нет, нет! Этого допустить нельзя!.. Надо... Надо вышибить клин клином...

Яша шагнул в темноту и нащупал руку Чикова. Ру-

ка была холодная, влажная и вздрагивала, будто через нее пропускали ток. Яша сжал ее до боли в собственных пальцах:

— Бежим наверх, посмотрим бомбежку. Мигом!

Ни Алексей, ни Саша ему не ответили. Во дворе все замерло. Будто ночь прижала всех к земле, укрыла своей темнотой от опасности. Но Сашина рука продолжала вздрагивать, и Яше показалось, что товарищ плачет. Он одновременно толкнул одной рукой дверь мастерской, а второй рванул за собой Сашу:

— Ну! Наверх! Мигом!

Первый взрыв громынул, когда они были уже на четвертом этаже.

— Слишком темно, — пыхтел сзади Яши Алексей. — Им сверху ничего не видно. Надо бы хоть одну ракету дать, чтобы бомбили прицельно... Или поджечь что-нибудь.

— Поджечь? — выдохнул Яша. — Это они и без нас сделали. На, смотри!

Ударом ноги он распахнул дверь на заваленный снегом балкон. В лицо ударило холодным ветром. Небо было исполосовано огненными трассами. За домом, в стороне порта, полыхало зарево, и снег на крышах был красным. В соседнем доме со звоном посыпались стекла. У Яши так сильно стучало сердце, что, казалось, оно тоже рассыплется на тысячи осколков во время взрыва очередной бомбы. —

И вдруг Яша подумал: а что, если разбомбят дом, в котором живет предатель, и того тяжело ранят? Сможет ли он, Яша, стрелять в тяжелораненого? Или если Садовой попадет в госпиталь? Попробуй тогда к нему добраться!.. Яша не обращал внимания на то, что совсем близко покрывало снега вспарывалось осколками зенитных снарядов. Он забыл о своей безопасности, о Саше и Алексее. Он думал только о Садовом и при

каждом взрыве спрашивал себя, не упала ли бомба в районе Южной улицы, найдет ли он Садового целым и невредимым, когда кончится бомбежка.

— Пойдем, Яшко, бомбежка заканчивается, а после налета из-за патрулей трудно будет пройти до Южной.

Яше сперва показалось, что это он сам себе сказал. Но голос снова повторил эти слова. Это был голос, который уже произнес сегодня: «То, что должен совершить я, должен совершить я...» Яша снова нашел в темноте руку товарища и пожал ее.

Как нынче днем, как вчера и позавчера, на балкон, на крыши, на землю падали крупные, тихие хлопья. Только теперь это были серые хлопья пепла.

16. Шакалы из Галаты

Ленивый, как боярин, и жирный, как портовая крыса, начальник жандармерии подполковник Пержу брезгливо отодвинул ладонью налитую полковником Ионеску рюмку водки:

— Нет настроения.

Сообщение о разгроме немцев под Москвой испортило настроение не одному только Леону Пержу. Кто думал, что русские будут так сопротивляться! Заверял же Гитлер, что до зимних морозов большевики будут разбиты и война закончится... Говорил же Антонеску, что как только оккупируют Одессу, румынская армия получит отдых... И, кажется, все шло слава богу: Киев, Харьков, Орел, Ростов-на-Дону... вот-вот должны были прорваться к нефтяному Кавказу, со дня на день ожидалось падение Ленинграда и Москвы, и вдруг гром с ясного неба — отборные дивизии фюрера отброшены на 250 километров, уничтожены в снегах Подмосковья.

На юге русские будто только и ждали этого: в канун Нового года высадились с моря и отбили города Керчь и Феодосию, а через несколько дней их корабли высадили десанты в районах Евпатории и Судака. Новое наступление на Севастополь провалилось...

А в Одессе?.. Пержу перебирает в памяти сводки, зачитанные сегодня на совещании. «Террористы, скрывающиеся в катакомбах в Нерубайском, ожидают приказа наладить связи с военнопленными, недовольными крестьянами, а также с теми, кто живет на Слободке, чтобы объединенными усилиями захватить артиллерийскую батарею на крекинг-заводе... Много партизанских групп находится в катакомбах Кривой Балки, Усатова, Нерубайского... Партизаны обстреляли патруль из автоматов. Убит один солдат, ранен офицер... Раскрыта новая партизанская группа среди рабочих завода «Январский»... У катакомб приходится держать целую дивизию, так необходимую на фронте. Кажется, замуровали все щели, взяли под прицел все входы и выходы, а катакомбисты каждую ночь появляются в городе, пускают под откосы поезда, взрывают штабы, а самолеты по их сигналам бомбят воинские казармы, артиллерийские склады и батареи. И сколько тех партизан под землей? Одни говорят, что всего несколько десятков фанатиков, другие утверждают, что в катакомбы ушла добрая половина войск, защищавших Одессу, и только ждут десанта с моря. Что будет, если этой ночью советские корабли появятся на здешнем рейде?..

Леон Пержу зябко поежился. Он вместе с начальником одесского отделения сигуранцы полковником Ионеску и начальником следственного отдела майором Ионом Курерару только что вернулся с совещания у генерала Гинерару. Собственно, Гинерару только председательствовал, указания давали начальник одесского гестапо и представитель германского верховного командования

при губернаторе Транснистрии. Они сообщили, что в Берлине обеспокоены и недовольны положением в Одессе, что имперское управление безопасности выразило свое сомнение в том, что румынские каратели своими силами справятся с красным подпольем и катакомбистами, и прислало в Одессу оперативную группу «Мертвая голова». Они потребовали уничтожить всех патриотов, жестоким террором запугать жителей города, создать диверсионные группы и «институт провокаторов» среди партизан. В заключение начальник гестапо заявил, что отныне во главе борьбы с катакомбистами становится оперативная группа «Мертвая голова», с которой румынским властям надлежит координировать все свои действия. В заключение немцы пригрозили, что если жандармское управление и сигуранца не справятся с задачей, то Леона Пержу не спасут больше его родственные связи с директором румынской секретной службы генералом Эудженом Кристеску, а бывшего денкинского контрразведчика Георгиу Ионеску — старые заслуги перед сигуранцей.

— Может быть, настроение господина подполковника поднимет рюмка отечественного коньяка? — заискивающе спросил Ионеску.

— Ну-и. Нет, коньяк тоже не поможет. Господин полковник обещал удивить каким-то сюрпризом.

— О! Вы нетерпеливы. Я уверен, что после сюрприза вы не откажетесь и от русской водки.

— Возможно, — пожевал толстыми губами Пержу. Он никогда не заехал бы к этому проходимцу Ионеску, если бы тот не пообещал показать нечто такое, что может успокоить нервы и подать надежду на скорый успех в борьбе с партизанами. Ионеску тоже ни за что не пригласил бы к себе этого спесивого индюка Пержу. Но ему не терпелось похвастаться удачей. Тем более что Ионеску рассчитывал: то, что узнает в Одессе

Пержу, немедленно станет известно в Бухаресте его родственнику генералу Кристеску — прямому и главному начальнику Ионеску.

Ионеску подмигнул Курерару, выпил свою рюмку и взял с блюда соленую маслину. Желтое, как пергамент, лицо полковника разгладилось, маленькие глазки хитро прищурились:

— Что ж, господин майор, не будем томить гостя...

В это время раздался телефонный звонок. Следователь по особо важным делам просил майора Курерару срочно принять его.

— В чем там дело? — раздраженно насупил брови Ионеску. — Пойдите разберитесь.

Курерару вышел.

— Так что у вас там за тайна, господин полковник? Нельзя ли меня посвятить в нее, не дожидаясь майора? — спросил Пержу, вынимая массивные золотые часы и давая этим понять, что у него, начальника управления жандармерии, нет времени для пустых разговоров.

— Прошу прощения за задержку, — угодливо наклонил бритую голову Ионеску. — Но я хотел, чтобы Курерару ознакомил вас с некоторыми документами.

— Ну, а в общих чертах?

— В общих чертах это имеет прямое отношение к тем указаниям, которые дали немцы сегодня на совещании.

Пержу недовольно поморщился. Ему неприятно было само упоминание о сегодняшнем совещании. Он ненавидел немцев. Прежде всего за то, что они бесцеремонно относятся к румынам. Даже в Румынии обнаглели, словно завоеватели. Захватывают себе лучшие куски. И здесь, в Транснистрии, тоже. Но еще больше Пержу ненавидел русских белогвардейцев на румынской службе. Сегодня его пуще всего оскорбило именно то, что

Гинерару упомянул его, отпрыска знатной румынской фамилии, рядом с Ионеску, этим подонком, подобранным на галатской свалке.

— Так чем же вас так очаровали немцы? — скрывая неприязнь, холодно спросил Пержу.

— Наоборот, — будто извинился Ионеску, поняв, что неосторожно задел больную струнку шефа жандармов. — Я хочу доказать, что мы предвосхитили директиву гестапо об институте провокаторов среди партизан.

— Вы завербовали агента среди катакомбистов?

— Да.

— На что способен этот человек?

— Мы его изучаем. Но он жадный... Жадные способны на многое.

Пержу задумчиво побарабанил пальцами по столу.

— Я знаю, на что вы рассчитываете, Ионеску, — лукаво и хищно улыбнулся шеф жандармов. — Я обещаю, что это будет соответственно оценено Бухарестом. Особенно, если вы добьетесь реальных результатов... Я охотно выпью рюмку за ваш успех.

Курерару вошел без стука. По нервно вздрагивающим губам под тонкими усиками нетрудно было догадаться, что он очень взволнован. Но Ионеску не заметил этого.

— Покажите-ка дело Садового, господин майор, — довольно потирая руки, распорядился он.

— Показывать дело бесполезно, господин полковник, — доложил Курерару. — Агент Садовой убит.

— Как убит?! — вскочил со стула Ионеску.

— Сегодня, в десять утра, труп Садового обнаружен у него на квартире. Из груди и живота извлечены две пули от револьвера системы Браунинг. Больше из него ничего не выжать...

Пержу тоже поднялся с кресла. Он рывком схватил

со стола фуражку и перчатки, не прощаясь, крупными, тяжелыми шагами направился к двери:

— Не сумели... Ш-шакалы...

Звук сильно хлопнувшей двери заглушил последнее слово, произнесенное разъяренным Пержу, но Ионеску и Курерару то слово слишком хорошо было знакомо.

...Шакалы из Галаты! И на совещании и сейчас напоминания о Галате больно хлестнули по самолюбию Ионеску и Курерару. Прошло более двадцати лет, как они вместе с тысячами белоэмигрантов сошли на пристань у Галатского моста и неуверенно ступили на стамбульскую землю. Валюты у Георгия Иванова и Ивана Кунина не было, а царские ассигнации и «керенки» уже ничего не стоили. Поначалу жили надеждами на скорый крах большевиков и победное возвращение домой. Но жизнь опрокинула эти расчеты и заставила подумать о пустом животе, об истрепавшихся казенных френчах: даже под горячим стамбульским солнцем голым ходить не будешь, а голод — не тетка, научит из песка веревки вить! Бывшие княгини и баронессы пошли официантками, губернаторы — поварами, генералы — швейцарами в кабаре да рестораны. Иванову и Кунину и вовсе пришлось туго — хоть с Галатского моста да в Босфор! Вот тогда-то румынская разведка и пригрела их. Вот тогда-то Георгий Иванов и превратился в Георгиу Ионеску, а Иван Кунин — в Иона Курерару.

Казалось бы, с тех пор немало дунайской воды утекло в Черное море и немало Ионеску с Курерару забросили шпионов и диверсантов через Днестр. Будто и пришли они ко двору в сигуранце, а все же им нет-нет да и напоминали про Галату. Помните, дескать, чем обязаны своим хозяевам...

Оставшись вдвоем с Курерару, Ионеску крепко порусски выругался и приказал поручить капитану Аргире тщательно расследовать убийство Садового.

— Он уже занимался этим, шеф, — чуть наклонил по-румынски гладко причесанную голову Курерару. — Ничего утешительного не выяснено, тем более что убийство произошло во время бомбежки, а труп обнаружен только утром. Аргир склонен к версии, что Садовой убит уголовниками с целью грабежа.

— Ерунда! Эта версия всегда наготове у Аргира, когда он не может выяснить подлинных обстоятельств, — рассердился Ионеску. — Что нам известно о катакомбистах от Садового?

Курерару достал из сейфа папку с донесениями агента, осуществлявшего связь с Садовым, и положил на стол перед Ионеску, но тот брезгливо отодвинул ее одним пальцем.

— Вы мне еще предложите разговаривать с этим грязным доносчиком. Нет уж, увольте, копайтесь в этом сами, а мне доложите главное.

Из того, что успел Садовой донести в сигуранцу через агента, следовало, что в катакомбах действует отряд под руководством чекиста Бадаева, присланного из Москвы. Зовут его Павлом, раньше звали Владимиром, но, возможно, что и то и другое имя не настоящее. Петр Бойко, он же Антон Брониславович Федорович — хозяин городской явочной квартиры катакомбистов. У него в слесарной мастерской работает связной отряда Бадаева Яков Гордиенко...

— Немного, — с досадой заметил Ионеску. — Либо он мало знал, либо набивал себе цену.

— В своем первом письменном заявлении, — поспешил добавить Курерару, — Садовой сообщал, что в катакомбах ему бывать не довелось, Бадаев относился к нему с недоверием.

— Да, большевики пьяниц не любят и не верят им. Ну а чекисты тем паче. Немедленно займитесь этим хозяином мастерских, майор.

— Взять сейчас?

— Ни в коем случае.

Ионеску жестом приказал Курерару сесть и начал излагать ему свой план.

17. Бадаев выходит в город

А Бадаеву очень нужно в город.

Связь с группами подпольщиков в городе и в порту налаживалась. Вот только долго не было вестей от партизан из катакомб Молдаванки. Приходили разные сведения об этой группе. Одни сообщали, что она разгромлена фашистами, другие якобы видели подпольщиков в городе: ходят, дескать, свободно, видать, ушли из подполья, не выдержали. Бадаев не верил этому. Руководителей партизан он хорошо знал — чекисты, люди верные и опытные... А тут и центр запрашивает, давно нет связи с ними, выясните, сообщите... А связные приносят вести одну безрадостнее другой.

В первые дни февраля пришел старый горняк Кушель. Он всегда приходил неожиданно, неизвестно откуда, как дух подземелья. Пришел, подсел к Бадаеву, свернул сигарку душистого самосада, поправил рыжеватые, густо перевитые прокуренной сединой усы, вздохнул:

— Плохи дела, Павел Владимирович. Верные люди рассказали: замуровали фашисты партизан в тупиковых шахтах под Молдаванкой. Начисто замуровали.

Бадаев нервно затянулся сигаретой:

— Может, сведения ошибочны, Иван Афанасьевич?

— Нет. Верные, — покачал головой старик. — Старший штейгер рассказал. Мы с ним в катакомбы на сходки ходили в девятьсот пятом, здесь же партизани-

ли в гражданскую, четверть века хлеб ломиком да пилой добывали. Я ему, как себе, верю.

— Может, он ошибся, может, не совсем замуровали?

Иван Афанасьевич недовольно поскреб прокуренными пальцами небритый подбородок.

— Ему все щели на Молдаванке ведомы. Говорит, сурчиной норы, паразиты, не оставили, все бетоном залили.

— А обходных ходов под Молдаванку нет?

— Был один через большекуляницкие и кривобалковские катакомбы, да лет пять тому на одном участке земляной пласт осел, перекрыло, тупик образовался...

Как помочь товарищам, попавшим в беду? Как спасти людей? Сизым облачком вьется дым от Кужелевой самокрутки, от бадаевской сигареты, вытекает тонкой струйкой за сквозняком в штольню...

— Ты дуже не журись, товарищ командир, — покрутил стрельчатые усы старый горняк. — Може, я и помогу беде. Есть еще один, совсем старый ход из города. Можно той дырой пробраться под Еврейское кладбище, обойти подземными дорогами Бугаевку... Дальний ход, километров двадцать идти надо под землей, и як шо не наткнемся на сдвиги земляных пластов, то найдем дорогу к замурованным товарищам. Правда, ход там задавленные, кое-где и на животе нужно проползать, местами завалы бута руками разбирать придется... А мне уже седьмой десяток. Дай кого из хлопцев покрепче мне в помощники... Авось выведем... Не пропадать же людям, в сам деле...

А поверят ли партизаны незнакомым людям? Не сочтут ли их за провокаторов, подосланных оккупантами? Ведь отряд в катакомбах, что рота в бою, — уйти без приказа не смеет. Оставить боевой пост может только мертвый — таков закон чекиста... Нет, никто, кроме Бадаева, не выведет их. Только ему лично, только ему,

ему одному может поверить командир попавшего в беду отряда.

Ход, о котором говорил дед Кужель, начинается где-то в парке, у Ланжероновского пляжа. Прежде чем в него войти, надо выйти в город, разведать, не обнаружен ли он фашистами, хотя старый шахтер и уверяет, что дырой той с самой гражданской войны никто не пользовался и занесло ее прелым листом за двадцать с лишним лет так, что днем с огнем ее не найдешь.

Правда, оставлять отряд надолго Бадаев по инструкции не имеет права. Хотя он несколько раз выходил в город и даже оставался там суток по двое, но каждый раз на то было разрешение Москвы. А где его взять, то разрешение, когда уже третьи сутки нет связи, в наушниках, кроме треска электрических разрядов, ничего не услышишь... А там гибнут, задыхаются боевые товарищи. Бадаев невольно вспоминает, как в декабре и здесь задыхались газами в подземном склепе — еще бы полсуток и... В инструкции, конечно, многие случаи предусмотрены, и писали ее умные люди, но такой случай, как у катакомбистов, предусмотреть никто не мог — считай, со времен Спартака люди в катакомбах не воевали. Значит, надо соображать самому, причем соображать не мешкая.

Бадаев приказал позвать связную Тамару Межигурскую и приготовить фонари.

...Девятого февраля 1942 года над Одессой валил густой снег, злой ветер подхватывал его, закручивал в белые жгуты, с воем и свистом хлестал теми жгутами прохожих по лицам, по глазам, норовил сбить с ног.

Хорошенко в тот день не работал — грипповал. Алексей закрыл мастерскую — кто придет в такую непогоду! — пошел к родным. Яша с Чиковым поднялись в свою комнату на четвертом этаже.

Вскоре пришла Тамара. Большой теплый платок, длинное пальто и кирзовые сапоги были так залеплены снегом, что Яша и Чиков еле отчистили их на лестничной площадке. Ребята усадили босую, продрогшую от холода Тамару на койку, закутали суконным одеялом.

— Грейся. Спирту немножко выпьешь?

— Нельзя, — вздрагивая всем телом и согревая дыханием заоченевшие кулачки, ответила Тамара. — Скоро Павел Владимирович придет.

Маленькая, шупленькая, коротко стриженная, она и теперь напоминала Яше скорее смышленного крестьянского паренька, чем ту веселую и таинственную молодую женщину, которую он встречал иногда на праздничных вечеринках у ее родственницы.

— А вы меня помните, Тамара?

Межигурская засмеялась, не отнимая кулачков от рта, будто грела их не дыханием, а смехом.

— Помню, Яшко.

— Нет, не тогда в катакомбах, а еще до войны. Помните, вы на Октябрьские гуляли у наших соседей, мы с Толиком, сыном вашей родственницы, читали стихи о Дзержинском, а вы подошли потом и прикололи нам на галстуки гвоздики...

— А потом ты оборвал у соседки все хризантемы в палисаднике и навалил мне целую охапку... — все так же смеясь, вставила Межигурская.

— Значит, помните! — залился краской Яша. — А я думал.

— Помню, Яшко. Только ты был тогда просто бесшабашным сорванцом, а теперь — подпольщик, разведчик. Я слежу за твоими успехами и горжусь тем, что рекомендовала тебя и Алешку в отряд... Вот только танцевать тебя так и не научила. Ну, ничего, у нас с тобой еще все впереди. Правда?

Так вот откуда Бадаев все знал о нем! А Яше-то казалось, что все так просто — понравился Бадаеву Яшко-капитан, и все тут!.. И раньше Яша как-то тянулся к этой загадочной для него молодой женщине-чекистке, а сейчас почувствовал, что стала она для него такой близкой, такой родной, что, может, кроме матери... да еще, кроме Лены, Ли... никого нет у него роднее... Ему захотелось рассказать ей о Ли, о своей любви, доверить ей то, что, пожалуй, никому и никогда не доверил бы... И рассказал бы, если б не Петр Иванович, который все время крутился в комнате Гордиенко, то, вдруг вспомнив о чем-то, бежал в свою комнату, где сиял белой скатертью, рюмками и графинами большой стол, чтобы через минуту снова зайти и спросить, не хочет ли Тамара выпить чего-нибудь или поесть.

Хотел Яша рассказать о Ли. А заговорил совсем о другом:

— Мне бы таким, как вы... И как Бадаев.

— Каким же, Яшко? — все еще смеясь, дула на пальчики Тамара.

— Чекистом. Смелым и... твердым, как кремь.

Тамара вдруг перестала улыбаться. Она взяла Яшину руку в свою холодную, тонкую и сильную ладонь:

— Нет, Яшко, нет. Чекист не кремь. Чекист — это... Это как горьковский Данко. Помнишь? Вынул из груди свое сердце и зажег его, как факел, для того, чтобы спасти других.

Неожиданно вошел Бадаев, возбужденный, покрасневший от холода, довольный.

— Ах, хороша выюжка! — потирая озябшие руки, смеялся он. — Родные края напоминает. В лес бы сейчас, в домок на курьих ножках: в маленьком камельке уютно теплятся угли, на столе шипит чайник, пахнет сухим листом и травами, а за окном — светопреставление! Ах, прелесть!.. Говорят, боги не засчитывают

в счет жизни время, проведенное на охоте... Правда, Яша? Да откуда тебе знать, твоя стихия — море! И это не хуже, я думаю... А кстати, как твой подрывник, все еще хворает?

— Обойдемся без Зиня. Я говорил с его дедом, ко Дню Красной Армии рванем офицерское собрание...

— Хорошо бы, Яшко, хорошо! Вон черноморцы в районе Судака в третий раз десант высадили. Надо и нам почаще напоминать господам завоевателям, что они не гости на нашей земле, а воры, что мы здесь хозяева.

— Будет сделано! Все будет точно!

— А завтра, Яшко, — Бадаев отвел Яшу к зашторенной черным молескином балконной двери, чтобы остальные не слышали их разговора, — сходи на квартиру к Екатерине Васиной. Адрес знаешь?

Яша молча кивнул головой.

— Там дед Кужель наших людей из Молдаванки на ночь пристроил. Помоги Васиной определить их на квартиры. И документами помочь надо.

— Есть! — по-флотски ответил Яша. — Несколько бланков паспортов еще от Фимки осталось. Как он там, Владимир Александрович?

Ответить Бадаев не успел — вошел Бойко, увидел Бадаева, засуетился, позвал жену:

— Жека, принимай дорогого гостя, приглашай к столу.

— Э-э, нет. Не могу. До комендантского часа надо выйти из города.

— Да что там комендантский час! — подскочил Бойко. — Мы с Яковом вам такой аусвайс, такой пропуск дадим — днем и ночью можно ходить с ним по городу. Правда, Яков?

— Не уговаривай, Петр Иванович, не могу. Дело есть дело.

— Ну хоть за столом посидите. Не обижайте Жеку.

— Я такую настоечку на чистом спирту приготовила, такие огурчики достала... и маслинки малосольные, закачаетесь!

— Спасибо, спасибо, — прижимал руку к груди Бадаев. — Вот если бы вы мне пару сухих портянок достали, довелось по воде брести, ноги совсем промочил.

— Сей момент, Павел Александрович, сей момент, — засуетился Бойко. — Жека! Тащи мою фланелевую рубашку!

— А ты — человек, Старик. С тобой не пропадешь.

Бадаев зашел на квартиру Бойко не только для того, чтобы переобуться. Совет отряда катакомбистов и раньше был недоволен работой Петра Ивановича, а история с Садовым окончательно убедила Бадаева в том, что дальше Бойко руководить городским подотрядом не может. Оставлять его в городе — тоже небезопасно. Совет решил закрыть конспиративную квартиру на Нежинской. Бойко придет в катакомбы вместе с Бадаевым и больше в город не вернется. Мастерскую следует ликвидировать, а ребятам — идти на заводы, возглавить сопротивление рабочих оккупантам. Фашисты заставляют одесситов работать на заводах и фабриках. Полиция взяла на учет всех трудоспособных, обязала явиться на биржу. Неработающих вылавливают во время облав и либо отправляют на каторгу в Германию, либо бросают в лагеря смерти... Ну что же! Одесситы пойдут на работу. Будут работать и уничтожать сделанное. Как портовики: грузят суда, но ни одно судно, груженное в Одессе, еще не дошло до порта назначения. Или как железнодорожники: сами составляют эшелоны, сами и взрывают их на перегонах... Новая обстановка требует и новых форм борьбы подпольщиков.

...Теперь, ожидая, пока Бойко принесет сухие портянки, Бадаев прикидывал в уме, искал удобный момент, чтобы приказать Старiku отправиться с ним в каткомбы.

18. Золотое колечко

За ночь снегу намело во дворе — чистого, пушистого. Синие сугробы. И кажется, свет шел не с неба, а от густо заснеженной земли, мягкой, как огромная пуховая перина.

— Доченька, — сказала Матрена Демидовна. — Наготовь снежку. Натопим его и вечером баньку устроим — отца помоем, хлопцев покличем, у них небось чубы что та проволока стали.

Нина схватила ведро, кликнула Бобика и с порога, как в белопенный прибор моря, — у-ух!

А Бобик! Бобик совсем ошалел от солнца, от радужных искр в снегу, от Нининого звонкого смеха — кувyrкается, прыгает, визжит и лает, хватает зубами и лапами Нину за пальтишко, валит в снег.

— Ах, Бобик, Бобик, глупый пес! — смеется Нина. — Ты же ничего не понимаешь, дружок, ничего!.. Ну не лай, милый, не лай. Не лижись! Хочешь, я тебе покажу золотое колечко, хочешь?

Нина поймала Бобика за ошейник, прижала его голову к себе, сунула к самым собачьим глазам палец с блестящим, как солнце, колечком.

— Ну, смотри же, смотри, это мне Леша вчера подарил!..

Вчера Нина рано закрыла ставни в своей комнате и легла спать. Но уснуть никак не могла — очень хотелось есть. За стеной крупными мужскими шагами хо-

дила мать — она тоже хотела есть и думала, чем накормить отца. Что-то ворчала себе под нос, входила в комнату Нины и гремела кастрюлями. Они были пусты. Кому же лучше было знать об этом, как не маме. Но мать как будто не могла поверить этому и все заглядывала и заглядывала в них... Потом она тяжело вздохнула, достала из буфета кусочек хлеба (маленький, черный, черствый, Нина знала — это последний кусочек во всем доме), посыпала его солью, налила из графина стакан снеговой воды и понесла отцу.

Нина никак не могла уснуть.

Пришел Алеша. Сел на краешке Нининой кровати, погладил ее по отливающим медью волосам.

— Красивая ты у нас, Нинок, вся в отца. Говорят, если девочка в отца, счастливой будет... Ты будешь счастливой, Нина. Будешь...

— Леша, ты ничего не принес?

Алексей всегда приносил что-нибудь: кусочек хлеба, сухой затертый бублик, как-то даже несколько ломтиков ветчины, прихваченных Яшей в ресторане Латкина.

— Нет, сестричка. Ничего у меня нет. Ничего... Завтра Петр Иванович обещает партизанский паек выдать. Завтра принесу.

С тех пор как Нина следом за братьями дошла до Усатовских катакомб, ребята не скрывали от нее, что они связаны с партизанами. Однажды даже послали ее в Оперный театр на дневное представление, на галерку. Рядом с Ниной сел старичок в очках, очень похожий на старого аптекаря. Когда занавес поднялся и свет погас, Нина сунула в руку старику записку от Яши...

— Завтра принесу, — повторил Леша.

— А паек из катакомб дядя Павел принес? Или дедушка с усами? — не открывая глаз, спросила Нина.

— Какой Павел? Какой дедушка с усами? — встревожился Алексей.

Нина тихонько засмеялась.

— Вчера я видела дедушку Кужеля. И с ним, наверное, дядя Павел был — такой высокий, красивый... Плечи — во!

— Все придумала, Нина. Откуда тебе Кужеля знать?

— А вот и не придумала, а вот и знаю, — опять тихо засмеялась Нина. — И хатку его знаю: белая-белая и рядом колодец, как на картинке... Только колодец без журавля, а с барабаном. Такой деревянный барабан с ручкой, на него цепь накручивается — длинная-предлинная...

— Все это тебе приснилось, Нина. Нет никакого Кужеля и никакой белой-белой хатки...

— А вот есть, — упрячилась Нина. — А вот видела! Весной пионеров возили на экскурсию в Нерубайское, ты не знаешь. Дедушка Кужель и еще второй дедушка, дедушка Трофим... Трофим Прушинский. Они нам катакомбы показывали, где при деникинцах партизанили. А потом к дедушке Кужелю мы ходили воду пить... Я помню...

— Ну вот, — сказал Леша. — А теперь тебе дедушка Кужель приснился. Поняла?.. И никому этот сон рассказывать нельзя. Поняла? Так надо. Ты же обещала быть дисциплинированной, Нина. Обещала?

— Ага, — вздохнула девочка.

Леша был очень грустен и нежен.

— Вырастешь, Нинок, будешь счастливая... Вспомни, что все, что мы делали с Яшей, делали для тебя... для всех вас...

Он поцеловал ее в оспинку на лбу, как раньше делал отец, когда Нина ложилась спать.

— А сейчас ничего у меня нет, золотинка, ничего... Кроме вот...

Леша торопливо снял со своего пальца тоненькое

золотое колечко, подаренное ему мастером ювелирной фабрики в день первой Лешиной получки. Чудной это был мастер: другие от учеников с первой получки требовали долю на пропой, а он за свои деньги делал своим ученикам подарки. Говорят, тот мастер в гетто снял свои золотые коронки с зубов и отдал охраннику, чтобы тот не видел, когда будут переправлять на волю больную еврейскую девочку. А сам умер от голода...

Нина проснулась утром, колечко сияло на ее худеньком пальчике...

Но глупый Бобик ничего не понимает в золотых кольцах. Он скулит, вырывается, гребет лапами снег, поровит лизнуть Нину в лицо, бесшабашно-весело смотрит Нине в глаза.

— Ах, пес, пес! — смеется Нина, целует Бобика в черный нос и отпускает ошейник.

Ошалелый Бобик кубарем вьется в снегу, визжит и убегает.

А Нине весело! Розовыми пальчиками она нагребает в ведро искристый снег и поет звонко, на весь двор поет:

Сидит бешеный Адольф
Под смерекою.
Он не мелет, не кует,
Не мерекает.
Антонеску перед ним
Низко стелется.
Только Гитлер не мычит
И не телится!

А в конце двора появляется дворник Степан. Хмурый, горбатый дворник, заросший рыжей щетиной, повязанный грязным платком вокруг шеи, с длинными, до коленей, неуклюжими руками. Маленькие недовольные глаза из-под лысых бровей. Колючки, а не глаза... Он был дворником при Советах, остался и при румынах. Во дворе все его опасаются, говорят — оккупантам продался. Он всегда пугает Нину.

— У хлопцев ваших шумно вечером было в комнате. Пусть прекратят, а то в участок доложу.

Или:

— Опять до ночи в мастерской сидели. Свет жгли. В щели свет видно, маскировку нарушают.

Если кто ночью во дворе спичкой чиркнет — сразу:

— Гаси огонь! Бомбу с воздуха захотел?!

А что та спичка? Ее и на земле-то за несколько метров уже не видно.

Нина не видит горбатого Степана, поет, смеется.

А он тихий, как тень, подходит к ней почти вплотную.

— А я бы на твоём месте, девка, песен не пел.

— Почему? — смеется Нина. Она сегодня даже и нелюдимого дворника не боится.

— Вчера вечером твоих братьев сигуранца взяла.

Нина ничего не понимает. Нина смотрит на дворника. Лицо ее постепенно бледнеет, глаза становятся большими-большими.

— Как взяла?

— Так. Арестовала.

— А-а-а-а!.. Ма-ма!.. Ма-мочка! — Крик, как удар клинка, рассек утреннюю тишину двора.

19. Данко зажигает факел

А вчера вечером вот что было.

— Ты — человек, Петр Иванович. С тобой не пропадешь, — повторил Бадаев, обматывая ногу разорванной надвое, почти новой фланелевой рубахой.

В дверь постучали требовательно и грубо.

Петр Иванович встрепенулся и побледнел.

— Кто там?

— Проверка документов, откройте.

Бойко посмотрел на Бадаева. Бадаев втокнул ногу в валенок, притопнул для верности о пол, сунул за голенище пистолет, поднялся.

— Все в порядке. Открывай.

Документы у катакомбистов были действительно в порядке. И у Бадаева, и у Межигурской. Их уже проверяли в городе патрули — подозрений не вызвали. Комендантский час еще не наступил, опасаться нечего.

Вошли четыре румынских офицера. Два автоматчика встали у двери.

— Кто хозяин квартиры? — спросил по-русски капитан с оловянными, как пуговицы на его мундире, глазами.

— Я, — ответил Бойко, втягивая голову в плечи. Его била дрожь. Трясущимися руками он достал из внутреннего кармана документы. Капитан взял их, подошел поближе к лампе, долго и тщательно рассматривал паспорта Бойко и его жены. Потребовал представить лицензию на право открытия мастерской. Потом вернул все бумаги и спросил, будто между прочим:

— У вас живет Яков Гордиенко?

Скрывать было бесполезно — только вчера дворник переписал всех проживающих в доме и списки отнес в полицию.

— Да... здесь.

Яша стоял у балконной двери. Шпингалеты, как всегда, были приподняты — толкни и дверь откроется. Рядом на спинке стула висел пиджак, во внутреннем кармане — браунинг. Тот самый, с которым он ходил к Садовому. Конечно же, капитан спрашивает его не случайно — кто-то донес, видно. Выхватить оружие, выстрелом погасить лампу, выскочить на балкон. Для этого потребуются всего секунды. А потом, воспользовавшись суматохой, по приставной лестнице, всегда стоящей наготове, на крышу и...

— Кто здесь Яков Гордиенко?

Это спрашивает оловянноглазый. Можно, конечно, выстрелить сперва в эти ненавистные оловянные кружочки, а потом в лампу. Но Бадаев?.. Если начну стрельбу, Бадаев пропал, ему бежать не удастся — до балкона далеко, а за дверь, в прихожей, полно военных... Погублю Владимира Александровича... Провалю конспиративную квартиру... Схватят Лешку, Сашу, Бойко, Межигурскую... Как это она сказала?.. Вынул из груди свое сердце и зажег его, как факел, чтобы спасти других?.. А если это просто проверка документов — проверят и уйдут. Меня, конечно, арестуют, раз уже спрашивают. Но другие-то могут избежать ареста... Будут мучить, пытать!.. Но Данко... Рядом с Яшей стояли Алексей и Межигурская. Алексей словно услышал раздумья Яши, прижался к нему и, не шевеля губами, чуть слышно прошептал.

— Беги на балкон, прикрою.

Яша удивленно глянул на брата: как же можно бежать, если командир далеко от двери, ему не пробиться к балкону?..

Тамара нащупала Яшину руку, железно сжала его кисть своими горячими тонкими пальцами, блеснула угольно-черными глазами в его глаза. То ли слышался Яше ее голос, то ли вправду она прошептала: «Беги, Яшко!..» И вслед за ее голосом Яша услышал голос отца: «Алексей сможет... а ты...», и Фимки, как тогда, после чтения письма Зигмунда Дуниковского: «Что за парень! Все на себя взял, никого не выдал», и Лены: «Я бы такого навек полюбила... Мне с тобой, Капитан, ничего не страшно»... Голоса накатывались, перехлестывали друг друга, как волны в шторм... «Беги, Яшко!» — услышал он горячий шепот Тамары у самого уха.

— Ты же сказала: надо, как Данко, — почти громко ответил ей Яша. — Надо спасать...

— Кто здесь Яков Гордиенко?! — громко и угрожающе снова спросил оловянноглазый капитан.

Яша посмотрел на товарищей. Бадаев спокоен: конечно же, обычная проверка документов. Тамара Межигурская стоит рядом, внимательно смотрит на Яшу. Яше кажется, что губы ее шевелятся, беззвучно повторяя: «Как Данко!.. Как Данко!..» Нет, Яша не может ради своего спасения жертвовать Бадаевым... Тамарой... Алексеем... Нет, не может! Он вырвал руку из Таминых пальцев и сказал твердо и громко:

— Я Яков Гордиенко.

Яша сам не узнал своего голоса: грубого, мужского, сильного... И сразу стихли все голоса. И Фимкин, и Ли, и отца... Такая в доме тишина, что слышно, как за дверью кто-то нетерпеливо щелкает затвором винтовки... А документы в порядке. И комендантский час еще не наступил, опасаться Бадаеву нечего!

— Я Гордиенко! — повторил Яша и шагнул от балкона.

Алексей и Межигурская невольно шагнули вперед, будто хотели закрыть собой Яшу от кинувшихся к нему навстречу фашистов.

Бойко ойкнул и закрыл глаза руками.

— Не пугайтесь, Петр Иванович. — Яша раздвинул руками Алексея и Межигурскую и еще раз шагнул вперед. — Вы-то здесь ни при чем. Откуда вам было знать о моих делах?..

— Имею приказ арестовать вас! — рявкнул капитан. — Друмеш!

Друмеш — долговязый, носатый и черный, как грач, локотенент — подскочил к Яше с наручниками. Он топтался, замок наручников никак не закрывался.

— Спокойно, локотенент, — усмехнулся Яша. — Слово пижона, не убегу.

— Вы кто таков? — повернулся капитан к Бадаеву.

Бадаев не спеша доставал документы из внутреннего кармана. Самое главное — спокойствие. Надо отвечать негромко, с достоинством.

— Это мой гость, господин офицер, — захлебываясь от страха, пролепетал Бойко. — У жены именины, день рождения.

Бадаев подал капитану паспорт.

— Носов, Сергей Иванович? — спросил офицер, заглянув в документ.

— Так точно, господин офицер, — подтвердил Бадаев.

Аргир полистал паспорт.

— Где родились?

— Из рязанских, господин офицер.

— Где работали?

— В артели гужевого транспорта, господин офицер.

Капитан что-то буркнул и вернул Бадаеву паспорт.

У Яши сухим блеском сверкнули глаза: «У-у, жабы! Можете со мной теперь что угодно делать, главное — Бадаев спасен! Спасен Бадаев! Вы еще узнаете на своей шкуре, что это значит!.. Ли тоже обо мне узнает. Уж Фимка-то потом все ей расскажет, как было!.. И Тамара не пожалеет, что рекомендовала меня в отряд!..»

— Кто такие остальные? — спросил у Бойко капитан.

Петр Иванович, кажется, тоже начал приходить в себя — гроза миновала! Показал на Алексея:

— Это брат Якова Гордиенко. Живет у меня.

— Ясно, — капитан даже не стал смотреть Лешкины документы. Сашины и Тамарины тоже.

— В той комнате — моя жена, — доложил Бойко.

— Хорошо, — сказал капитан. — Попрошу всех одеться. Надо пройти в полицию, оформить протокол

об аресте Якова Гордиенко. Это ненадолго, господа. Потом можете отмечать свои именины.

Автоматчики вывели Яшу в коридор. Офицеры, просто так, для порядка, ощупали карманы задержанных мужчин: все в порядке, оружия нет. Только локотенент, обшаривавший карманы Яшиного пиджака, что-то крикнул по-румынски и протянул Аргиру сверкающий никелем пистолет.

— Чей пиджак? — спросил Аргир.

— Якова Гордиенко, господин офицер.

— Ну вот. Я так и знал. Вещественное доказательство.

«Как быть?» — напряженно думал, одеваясь, Бадаев. Он понял поведение Яши: настоящий парень, решил принять все на себя, чтобы не провалить конспиративную квартиру и его, Бадаева. Бадаев и сам готов был пожертвовать ради Яши своей жизнью... Но жизнь Бадаева принадлежит отряду, Родине, делу, которому он служит. Сейчас, когда налаживалась связь с подпольным обкомом партии, с партизанским отрядом Лазарева, с портом и железной дорогой, когда наконец-то удалось связаться с подпольем Ивана Кудри в Киеве, и в его, Бадаева, руках сосредоточиваются нити одесского подполья, — он не имеет права распоряжаться своей жизнью даже ради Яши... Ничего, улик против него нет. Поддержат и выпустят, а там: держись, Яшко! В беде тебя не оставим!..

20. Испытание на стойкость

— Что вы наделали! — напустился Курерару на капитана Аргира, тыча ему в лицо паспорта задержанных. — Испортили обедню! Я же вас предупреждал:

братъ Бойко и Гордиенко только тогда, когда на явке будут катакомбисты. А вы такой фортель изволили выкинуть! Арестовали каких-то пьянчужек, собравшихся на именины мадам Бойко! Гром рака покалечил!

Аргир хотел возразить начальнику следственной части, что арест произведен с его ведома после того, как агентура донесла, что в квартире Бойко собрались посторонние люди, но тот махнул рукой — стареете, дескать, капитан Аргир, теряете чутье контрразведчика, как старый пес нюх! Мало того что агента подпольщики убили у вас под носом, так вы еще сами провалили такую операцию — не хватило терпения разыграть проверку документов до конца и, убедившись, что на явке нет интересующих сигуранцу лиц, убраться восвояси. От этого биндюжника Носова за версту несет дегтем и сыромятными гужами — какой он подпольщик!

Аргир и сам понимал, что промахнулся. На его запрос из полиции сообщили, что действительно в одесской артели гужевого транспорта был такой Сергей Иванович Носов, судимый, из рязанских, в первый же день войны мобилизованный на оборонительные работы и дезертировавший из ополчения... Теперь оставалось только выгнать ко всем чертям всех задержанных, кроме, конечно, Бойко и братьев Гордиенко. Выгнать, само собой разумеется, ночью, после комендантского часа, чтобы патрули перестреляли их на улице как куропаток... На какие-то ценные признания Бойко и Гордиенко рассчитывать тоже не приходится — Аргир успел убедиться в фанатичной стойкости большевистских подпольщиков. Да и вряд ли хозяин явочной квартиры и связной знают то, что интересуется сигуранцу... Ну а проваленная явочная квартира потеряла всякую ценность, больше туда никто не явится, обрывается последняя ниточка... И все это по его, Аргира, вине: не поторопись он вчера назвать имя Якова Гордиенко, все про-

шло бы незаметно, рано или поздно они накрыли бы на явочной квартире крупную птицу...

— Вы совсем потеряли голову, капитан! — услышал Аргир раздраженный голос Курерару. — Я третий раз предлагаю вам приступить к допросу Бойко, а вы стоите как истукан и что-то там шепчете себе под нос. Или потеряли способность к работе?

Аргир вздрогнул. Ему очень хорошо было известно, что ожидает сотрудника контрразведки, в ценности которого сомневался Курерару. Такой работник исчезал бесследно.

...В тесной и грязной камере — пять шагов в длину, три в ширину — оказалось четверо: братья Гордиенки, Саша Чиков и Петр Бойко.

— Откуда этот гад оловянноглазый узнал мою фамилию? Почему они меня искали? — спрашивал сам себя вслух Яша.

— Завидное знакомство, — насмешливо процедил Чиков. — С такими связями ты далеко пойдешь, Яшко.

— Не зубоскаль, Сашко. Не время, — заметил Алексей.

— Почему нет с нами... — Яша недоверчиво покопался на дверь камеры. — Где Носов? Петр Иванович, вы шли с ним последним, почему нет с нами Носова?

Но Бойко совсем расклеился: почернел лицом, как земля, забился в угол, стонал и дрожал.

— Да чего вам-то бояться, Петр Иванович? — подбадривал его Яша. — Скажите, что не знал, мол, что у Гордиенко есть оружие, думал, порядочный человек, кто он — на лбу не написано. Валите на меня, молодой, выдержу... Самое главное: молчите про Садового — сном-духом, мол, не ведаю.

Бойко молчал, грыз пальцы, как волк прихваченную капканом лапу.

Вскоре его увели.

— Достанутся Старик, как хозяину, самые сливки, — сочувственно вздохнул Чиков. — Жалко...

— Не горюй, всем хватит, — хмуро пошутил Алексей.

Но не вернулся еще Бойко, позвали на допрос Сашу Чикова.

Яшка подошел к нему вплотную.

— Сашко! Ты ничего не знаешь, Чинил примусы — и все! Понял?

Чиков молча кивнул головой.

— Письмо Зигмунда Дуниковского помнишь?

— Помню, Яша.

— Его били резиной, ногами, крутили руки, поднимали за волосы, бросали на пол... Помнишь эти строчки, Сашко?

— Помню.

— На рассвете его опять повели на допрос, требовали, чтобы он назвал фамилии товарищей. Снова били... И он никого не выдал. Все взял на себя...

— Да.

— И так сегодня поступим мы. Как первые комсомольцы!

— Да, Яша.

— Скорее там собирайся, Чиков! — крикнул жандарм за дверь. — Или тебе помочь?

Гордиенко поцеловал Сашу. Тот молча прижал его к себе. Потом легонько оттолкнул. И вышел из камеры.

Через три часа его внесли в камеру и бросили на цементный пол, как мешок. Он даже не имел сил стоять.

— Яков Гордиенко, на допрос! — крикнул тот же жандарм за дверь.

Алексей обнял брата.

— Держись, Яша. Помни, мы — из отряда чекистов.

— Если что, передай отцу: Яшка не подвел. Убить они меня убьют, но и сами намучаются.

...Перед Яшей за массивным дубовым столом сидел сам начальник следственной части майор Курерару. Где-то уже видел Яша этого майора... Какие глаза у майора, Яше судить трудно, потому что майор, допрашивая, не поднимает на арестованного глаза да и вопросы задает не тому, кого допрашивает, а переводчику — молодому горбоносому парню, у которого, кажется, нет ни чувств, ни интересов, он переводит слова майора Яше и Яшины слова майору, оставаясь бесстрастным, мертвым, камешным.

— Если ты будешь давать толковые ответы, облегчишь свою судьбу.

— Буду стараться, — усмехнулся Яша. — На экзаменах всегда были мною довольны.

— Ты убил Садового?

«Так вот в чем дело! — быстро соображал Яша. — Кто-то видел меня на Южной в ту проклятую ночь и донес... Ну что ж, если все дело в этой собаке, отпираться не стану, возьму все на себя... Остальные-то в этом не замешаны, их подержат и выпустят!»

— Отвечай коротко: да или нет?

— Да.

Переводчик исподлобья посмотрел на Яшу, прежде чем перевести его ответ. Но майор Курерару ничем не выказал своих чувств, не поднимая глаз, задал новый вопрос:

— Почему ты его убил?

— Алексей Садовой занял у меня пятьсот марок и не хотел отдавать, — быстро придумал Яша и, чтобы было убедительнее, добавил: — Марки теперь все, без них не проживешь, а у меня семья голодная, отец болен,

вдвоем с братом только и работали на пять человек. Заработка никакого. Чем жить?..

— С кем ты был?

— С браунингом, господин офицер. Его отобрали у меня при аресте.

— Я тебя спрашиваю, кто ходил с тобой к Садовому? — нетерпеливо забарабанил пальцами по столу майор.

— Вопрос этот выеденного яйца не стоит, господин офицер, все равно, кроме меня, никто в Садового не стрелял.

— Локотенент Чорбу, — обращается Курерару к человеку, сидящему за другим столом в дальнем углу. Он говорит что-то по-румынски.

Локотенент Чорбу, кажется, собран из случайно, независимо друг от друга изготовленных деталей: огромная бритая голова и малюсенькие красные глазки, массивная, выдвинутая вперед нижняя челюсть и тонкие серые губы, кривые, короткие ноги рахитика и волосатые верхние конечности орангутанга. Перед ним на столе — пистолет, плетка, набор метровых отрезков резинового шланга, перевитых проволокой железных прутьев и тонких труб, какие-то щипцы...

Тонкие губы Чорбу растянулись чуть ли не до ушей, обнажая редкие, гнилые зубы. «Да-да! — вспомнил Яша. — Это же он чистил у меня сапоги возле вокзала! Он и этот майор...» Чорбу поднялся из-за стола, но Курерару остановил его движением руки. Чорбу закрыл улыбку и покорно опустился на прежнее место.

— У моего помощника будет еще достаточно времени, чтобы заняться тобой обстоятельно, — сказал Курерару Яше через переводчика. — А сейчас скажи, ты был связным Бадаева?

Переводчик еще не успел перевести вопрос, но слово «Бадаев» Яша понял и без него. «Какая-то собака уже

донесла! — сообразил Яша. — Садовой?.. Ну что же! Обо мне ты, фашист, узнаешь все, о Бадаеве — подавишься, ничего не узнаешь». Яша удивленно посмотрел на Курерару:

— Кто такой Бадаев?

— Ты не знаешь Бадаева? Не знаешь фамилии своего командира?

— У меня нет никакого командира, — невинно пожал плечами Гордиенко.

— Ах вот оно что? Но ты бывал в катакомбах?

— Был весной в прошлом году, на экскурсию ездил со школой.

— И ты знаешь входы в катакомбы?

— Знаю... Но те входы, которые я знаю, ваши солдаты давно уже замуровали.

— И ты ни одного больше входа не знаешь?

— Чтобы таки да — так нет.

Фраза, которую произнес Яша, не встречалась ни в одном румыно-русском разговорнике, а дословный перевод ее был непонятен, что критская клинопись. Переводчик виновато посмотрел на Курерару. У того промелькнуло подобие улыбки.

— Это чисто по-одесски. Я познакомился впервые с этим жаргоном в девятнадцатом году, — сказал он переводчику по-русски. — Можете идти, я закончу допрос сам.

Переводчик ушел. Ублюдок Чорбу скалил зубы, ожидая команды Курерару. Но майор даже не повернул к нему головы.

— Нам известно, что ты был связным у Бадаева, — сказал он Гордиенку.

— Вам известно? И откуда это может быть вам известно? Я же никакого Бадаева не знаю.

— А Носова знаешь?

— Какого Носова? — насторожился Яша.

— Сергея Ивановича Носова из артели гужтранса.

— Ах Сергея Ивановича! Да? Это которого задержали вчера вместе со мною? Да? Высокий такой, в шапке?.. В бобриковом пальто?.. — Яша готов был до бесконечности перечислять приметы Носова, затягивая время и лихорадочно соображая, почему этот фашист спрашивает его о Носове и Бадаеве одновременно. — Нет, не знаю!.. Вчера впервые видел его на квартире у Бойко.

— И ты станешь отрицать, что Носов и Бадаев одно и то же лицо?

Яша чуть не вскрикнул. Нет, этого Садовой знать не мог! Паспортом Носова Владимир Александрович пользовался впервые... Значит?.. Значит, предал кто-то из арестованных вчера. Кто же? Кто?! Жека?.. Или Старик не выдержал пыток?.. Нет, нет! Это только подозрения господина фашиста! Это провокация!.. Яша ответил спокойно и дерзко:

— Откуда же мне знать, господин фашист, похожи ли вы на черта — вас я вижу впервые, а с черта даже фотокарточки нету.

Курерару понял, что очную ставку Яши с Носовым проводить бесполезно. Этот Гордиенко довольно крепкий орешек, если упрется, хоть ты кол ему на голове теши — ничего не скажет. Но Курерару был матерым волком, недаром же он, как и Аргир, втайне от своих хозяев, служил не только румынской, но и немецкой, и английской разведкам. Он решил заговорить с Яшей по-иному: не может быть, чтобы этот подросток не воспользовался возможностью сохранить себе жизнь. Курерару всегда считал: чем человек моложе, тем жизнь ему дороже, тем сильнее он цеплялся за нее, ничем не брезгуя для своего спасения.

— Не делай глупостей, Гордиенко. Я даю тебе возможность спасти свою жизнь. Для этого много не надо: перестань ёрничать и ответь всего на один вопрос.

— А как же убийство Садового?

— Это можно расценить как обыкновенное уголовное преступление. В военное время на это особого внимания не обращают.

— Угу... — задумался Яша. — И что же это за вопрос такой, что ради ответа на него можно отпустить уголовника на все четыре стороны?

— Сколько катакомбистов в Одессе?

— И если я отвечу на такой короткий вопрос, значит, все — чеши, Яша, до дому?

— Если ответишь правильно.

Даже Чорбу вытянул шею и наострил лопухи ушей, чтобы расслышать Яшин ответ.

— Вот жаль, господин фашист, я их не посчитал.

— Ну, много или мало?

— Смотря как понимать. На двести миллионов советских людей, конечно же, мало, ничтожный процент... Но если на ваш гарнизон, — фью-ю-ю! — господин фашист, тьма-тьмушая. Катакомбисты не перебили вас всех до сих пор только потому, что боятся, как бы в свалке не наставить синяков порядочным людям. Вы же, наверно, заметили, господин фашист, что вас бьют только тогда, когда вы собираетесь большим стадом — в комендатуре на Маразлиевской, в поезде-люкс, в колонне на Николаевском шоссе... Мой вам совет, господин фашист, не собирайтесь ярмаркой, чешите отсюда в свою Румынию, там вас, словно пижона, трогать не будем.

— Надеюсь, ты понимаешь, щенок, что твоя болтовня мне не нужна, — не выдержал спокойного тона Курерару. — Мне нужны показания, черт побери, и я их у тебя вырву или тебе не видать солнца, как своих ушей!

Яша знал, что его будут бить, мучить, пытать. Он к этому был готов еще с той минуты, когда там, на

квартире, отказался бежать и назвал свое имя. И ему просто хотелось потрепать нервы этим ублюдкам, решившим соблазнить его свободой, жизнью, солнцем. И теперь, когда уверенность господина следователя в своем превосходстве, в том, что он купит Яшу, была на пределе, когда нервы у того начали сдавать, Яша почувствовал такой прилив сил и дерзости, что не мог уже сдержаться. Он подался всем телом вперед и, гордо подняв голову, сказал громко и вдохновенно:

— И насчет солнца и света у нас с тобой, фашистская морда, понятия разные:

Мы клянемся любимой Отчизне:
Расстояньям и тьме вопреки,
Будут светочем в море и в жизни
Лишь советской земли маяки!

Курерару хотелось выть от злобы, но он взял себя в руки, ему надо было во что бы то ни стало сломить волю этого подростка, запутать его, заставить хоть чем-то усомниться в своей правоте, поколебать веру в себя, веру в дело, которому был предан. И опять подобие усмешки скользнуло по губам Курерару.

— Эх ты, Гор-ди-енко! Украинец с украинской фамилией, а национальной гордости в тебе ни на грош, не нашел даже украинского стихотворения, по-русски шпаришь. Или большевики так уже вытравили в тебе все украинское, что и вспомнить нечего, Гордиенко?

— Ах вот оно что? — Яша почувствовал, как что-то холодное подкатилось к самому сердцу. — Так это ты ради Украины, оказывается, стараешься. Это ты чистоту мовы моей, гордость моей фамилии пришел сюда отстаивать? Добре же... Ты про Тычину, Павла Григорьевича, слышал?.. Да где уж тебе, фашист, слышать про него, ты и «Боже, царя храни» небось забыл... Так вот слушай! Слушай украинскую мову, гад!

И он кинул, потрясая перед собой закованными в кандалы руками:

Душі моєї не купить вам
а ні лавровими вінками,
ні золотом, ні хлібом, ні орлом.
Стою — мов скеля непорушний!

— Фанатик! — в бешенстве закричал Курерару. — Чорбу! Ла мунка, займіться своїм делом!

Чорбу подскочил к Яше и, не размахиваясь, левой рукой нанес ему сильный, короткий удар в челюсть.

21. О чем кричат тюремные стены

Бойко в камеру не вернулся. Вместо него на третьи сутки втокнули избитого до полусмерти Шурика Хорошенко. Парень могучего телосложения и незаурядной силы несколько часов лежал пластом. Яша, преодолевая боль во всем теле, с трудом приподнял голову Шурика, положил ее себе на колени и пытался разжать зубы, чтобы влить в рот товарищу хоть несколько капель воды. Ни Саша Чиков, ни Алеша помочь ему не могли — они сами не в силах были подняться с цементного пола, истерзанные палачами на допросах. Только к вечеру Шурик пришел в себя, открыл глаза, узнал Яшу. Глаза чуточку потеплели. Он вздохнул и уснул.

Потом целую неделю никого не вызывали на допрос. Ребята постепенно отходили, как зеленыя после крепких морозов. Яша после сильных побоев стал плохо слышать. Саша Чиков кашлял и харкал кровью. Алексей жаловался, что ему вывихнули ногу, не мог шагу ступить без стона. Только Шурик ни на что не жаловался и ругал себя на чем свет стоит, что так глупо попался в ловушку.

— Пришел на работу, смотрю — замок висит. Ну, думаю, пижоны всю ночь в домино резались, теперь дрыхнут, а время мастерскую открывать. Ужо я вас, думаю, потрясу на койках, побрызжу водичкой холодной. И ввалился, как слепой телок в яму, а там засада... Ах дубина! Ах болван стоеросовый!

— Зато в приличную компанию попал.

— Да уж куда приличнее.

— Главное, не падать духом, ребята, крепиться, — твердил Алексей. — Знали, на что идем.

...В камере темно, сыро и холодно, как в яме. Тюремные ночи тянутся долго, может быть, из-за мертвой тишины, только изредка нарушаемой приглушенным стенами криком или стоном уснувшего соседа. И как ни болит избитое тело, как ни муторно на душе, мысли все текут и текут, все чаще и настойчивее берedit душу мысль о побеге. Вот если бы катакомбисты налетели на сигуранцу! Или черноморцы высадили десант. В Феодосию высаживали. И в Керчь. И в Евпаторию. В Судак, Владимир Александрович говорил, трижды высаживали. Высадят когда-нибудь и в Одессу, в городе давно уже об этом слухи ходят... Рождаются самые дерзкие мечты о побеге...

В стенку кто-то стучит короткими, негромкими, сухими, то одиночными, то парными ударами — стук-стук, тук, тук, тук-тук-тук-тук... Подожди, подожди, да ведь это морзянка, которую Яша изучал в спецшколе. Да и какой мальчишка приморского города ее не знает! Яша напрягает слух и память, вспоминает забытые сочетания одиночных и групповых сигналов. Тук, тук-тук. Тук, тук-тук. Точка — тире, точка — тире, вспоминает Яша. Да ведь это же — вызов. Вызывают на разговор!

Яша, забыв о боли, пододвигается к стене и стучит костяшкой согнутого пальца: три точки, тире, точка — отвечаю, мол, слушаю, передавай!

И складываются точки и тире в слова, и шепчет уже Яша переданную через стенку телеграмму:

— Нас предали. Нас предали. В камере с Бадаевым сидит Бойко. В камере с Музыченко сидят Вольфман Густав, Милан Петр, Продышко Петр...

Ребята все проснулись. А может, как и Яша, не спали вовсе. Сползлись к Яше, слушают его шепот. А стенка продолжает рассказывать жестким, сухим языком точек и тире:

— В камере с Межигурской сидят Шестакова и Булавина...

— Тетя Ксения! — невольно вскрикивает Алексей.

И Яша вспоминает рыбацкий домик на шестнадцатой станции, чумазных ребятишек, перебирающих синие гроздья, и лопот виноградных листьев над крутым берегом...

«Все — наши!.. — отмечает он про себя. — Нас предали — это точно! Но кто?.. Кто иуда?»

А стена сыплет и сыплет фамилиями:

— Волков...

— Шлятов...

— Шилин...

— Юдин...

— Бунько...

— Какой Бунько? Какой Бунько? — вслух спрашивает себя Яша. — Где я слышал эту фамилию?

— Слушай, слушай, Яшко, что там еще стучат, — тормозит его за рукав Алексей.

— Передай, кто в твоей камере, кого водили сегодня на допрос? — спрашивает стена.

Яша выстукивает косточкой согнутого пальца четыре фамилии. Стучать неудобно. Мешают позвякивающие кандалы.

— ...допросов не было.

Потом, подумав, снова стучит:

— Какой Бунько? Какой Бунько сидит в камере с Волковым?

Стена долго молчит. Потом раздаётся торопливый стук, посыпались точки и тире.

— Одноногий чистильщик с Привоза.

— Дядь Миш? — удивляется Яша. — Дядь Миш, как же ты сюда попал?

А стена продолжает говорить:

— Сегодня зверски избит на допросе Бадаев. Имен не назвал. Бадаев просит передать всем: главное — не потерять веру в наше большое дело. Кто сохранит ее — выдержит.

— Выдержим, командир! Выдержим! — шепчут четверо в камере. — Всё выдержим!..

А стена продолжает. Стена уже не говорит, она кричит, она вопиет:

— Сегодня после пыток покончил самоубийством Николай Шевченко. Имен не назвал... Никакие пытки не вырвут у нас признаний... Остерегайтесь провокаций...

В камере зажегся свет. В двери шелкнул железный глазок, открываемый жандармом. Заскрежетал ключ в замке, лязгнул засов.

— Гордиенко Яков! — кричит жандарм. — На допрос! Быстро!

Яша поднимается с пола, снимает бушлат и кубанку, идет к двери:

— Спешу и падаю!

22. Палачи меняют тактику

...В просторном кабинете вкрадчиво постукивают настольные бронзовые часы. Ионеску кажется, что кто-то невидимый идет по пустым комнатам ровным, нетороп-

ливым шагом. И ничем нельзя остановить идущего. Рано или поздно он откроет дверь и войдет. И это будет последняя минута в жизни Ионеску. А может быть, это тикают вовсе и не часы, а взрывной механизм мины, заложённый партизанами, как там, на Маразлиевской? А может... С некоторых пор полковника мучают дурные предчувствия. Начали сдавать нервы — все чудится приближение роковой минуты... Тревога проникает за толстые стены кабинета вместе с полосками света сквозь портьеры на окнах, вместе с запахом гашеной извести из подвалов, где томятся заключённые. Тревога во всем, даже в сизых тенях, безмолвно ползущих по паркетному полу. Ионеску нервно пожимает плечами, раскрывает пухлую желтую папку с надписью «Строго секретно», дрожащими пальцами переворачивает страницу и упирается серыми злыми глазами в частокол крупных черных букв. Это копия донесения шефу службы информации директору Кристеску. И хотя Ионеску сам подписал донесение и сам позавчера отправил его с нарочным в Бухарест, копия снова и снова притягивает к себе внимание полковника.

Ионеску не слышал, когда в кабинет вошел Курерару, и еле заметно вздрогнул, когда тот дал о себе знать легким покашливанием, но сразу овладел собой — присутствие старого, испытанного подручного успокаивало.

Ионеску. В ответ на наше донесение получена шифровка от директора Кристеску. Он требует, чтобы мы любыми способами добивались признания у захваченных катакомбистов, нашли способ проникнуть в катакомбы...

Курерару. Мы все сделаем для этого.

Ионеску. Однако неделя пыток Бадаева, Шестаковой и Межигурской не дала никаких результатов. Вы, конечно, понимаете — кроме них и Якова Гордиенко, никто из арестованных секретных входов в катаком-

бы не знает и ответить, есть ли под землей войска и сколько их, не может.

Курерару. Да, Бойко выдохся. Даже ему неизвестно ничего, что выходит за пределы городской группы. Я думаю, в городе осталось много агентов Бадаева, о которых ни Бойко, ни мы ничего не знаем.

Ионеску. Бойко сделал все, что мог... А те трое, я имею в виду Бадаева и его Тамар, такие фанатики, что ничего не скажут. Они скорее поступят, как Шевченко, чем признаются. Единственное, что мы можем еще сделать, это расстрелять их.

Курерару. Пожалуй. Я присутствовал на их допросах.

Ионеску. Но нам уничтожения Бадаева мало. Надо уничтожить подполье. Нетрудно себе представить, какая огромная и еще не ликвидированная подпольная организация разведчиков и партизан осталась после Бадаева в катакомбах и в городе. У них значительные запасы продовольствия и оружия. Если мы их не раскроем, нам, знаете ли...

Курерару. Понимаю вас.

Ионеску. Значит, Бадаев, Шестакова и Межигурская выпадают. Остается Яков Гордиенко. Федорович уверяет, что Гордиенко знает адреса городских явочных квартир.

Курерару. Но Гордиенко дерзок и упрям. Чорбу не добился от него ни единого слова.

Ионеску. Поймите, что от Гордиенко зависит не только судьба катакомбистов, но и наша с вами карьера тоже... Гордиенко еще молод и, следовательно, не успел еще так проникнуться большевизмом, как Бадаев и те двое. Это во-первых. Во-вторых, он еще не жил, и жизнь ему дороже, чем другим. В-третьих, у него есть мать и больной отец, которых он, как свойственно ребенку, любит. А материнское сердце?.. Чего только не сделает

мать ради спасения сыновей, учитывая, что муж безнадежен. Надо, чтобы материнская слеза работала на нас. Разрешите мадам Гордиенко свидания с сыном, и она, может быть, добьется от него того, чего не добились пока мы с вами... Вот мой план: вооружимся терпением, пусть охрана относится к Якову Гордиенко по возможности... ну, как это, гуманно, что ли... прекратите физические меры, предоставьте ему много времени для размышлений. Психологически он подготовился к самому худшему и будет сначала удивлен таким оборотом дела, через неделю — встревожится, через две — начнет паниковать. Это уже будет надлом, дальше покатится, как снежный ком с горы... Иногда психологический прием срабатывал и против более закаленных, чем этот мальчишка. Да и к тому же: только ему одному из всех арестованных будут разрешены свидания, только ему одному — передачи, пусть приносят хоть три раза на день, скорее бросится в глаза остальным заключенным. Только его одного не будут избивать на допросах. Да при том всем известно, что он не оказал сопротивления при аресте. Знаете ли, как это могут расценить остальные арестованные подпольщики? Это тоже козырь не из последних... Надо взять хитростью то, что не удастся взять силой.

23. Варенички

Матрена Демидовна за слезами да за стеклами сразу запотевших очков почти и не видела на свидании Яшиного лица. Тем более что их отделяла друг от друга двойная перегородка из стальных сеток. Матрену Демидовну строго предупредили, что можно разговаривать только о семейных делах. Она ничего и не говорила.

— Отец вам кланяется, — начала было она, но сле-

зы так сдавили горло, что больше сказать ничего не смогла. Стояла, скрестив худые руки на груди, чтобы не так заметно была дрожь, и молча плакала.

Плакала не потому, что горе свалилось на ее голову неожиданно-негаданно. Нет. С тех пор как война началась, она только горя и ждала. А чего еще ждать, когда в городе враг? Смерть рыщет по домам, цепляется, что репей до кожуха, и смирную, и буйную голову равно сечет. А ее сыновья, нечего греха таить, никогда смирянками не были, ни притворству, ни лицемерию не учены: что на сердце, то и на языке, что на уме, то и на кулаке — обиду стерпеть не могут, не то что... Вольной крови дети. И когда узнала, что сыны ее — подпольщики, не удивилась. Удивилась бы, когда б они не были подпольщиками. Это Лешенька да Яшко думали, что мать не ведает об их партизанстве. Она все видела. Если сын трое суток дома не ночует, а на четвертую ночь приходит продрогший досиня, вымотанный до кровинки, только глаза блестят... «Обогрейся, сынок... Обогрейся, засни скорее». — «Некогда, мама. Где Лешка?» И шепчутся, шепчутся потом до утра... Разве матери еще что говорить надо? Разве сердце ее обманешь? Все она знала. И какая беда их караулит в случае чего... И на все свое материнское благословение дала. Молча... И плакала теперь оттого, что не открылась сыновьям тогда, не была вместе с ними. Может, материнское чутье и уберегло бы их от какого неосторожного шага. Невелика бабья сила, да, может, в чем и помогла бы... А теперь чем можешь?

Вот так и стояла все свидание, слезами облитая. Только бы не согнуться, не зарыдать, не надломить Яшину душу своей болью. Жене моряка, матери партизан негоже быть слабой... Когда дежурный объявил, что свидание окончено, почти спокойно сказала:

— Блюдайте сами себя, нам хорошо будет.

Нет, ничего крамольного не усмотрели палачи ни в отцовском поклоне, ни в смиренном наставлении матери! А Яше эти слова сказали многое: и благодарность отца за то, что его сыновья оправдали надежды, и благословение матери пуще жизни беречь честь, достоинство, сыновнюю верность делу отцов...

Свидания, на которых нельзя было ни сказать то, что надо сказать, ни прикоснуться друг к другу, ни даже обменяться значительными взглядами, которые не привлекли бы внимания жандармов, были мучительны и для матери, и для сына. И Матрена Демидовна стала приходить все реже и реже. Пусть Нина ходит, они хорошо понимают друг друга.

Нина не пропускала ни одной возможности повидаться с братом, от комендантского часа до комендантского часа крутилась у следственной тюрьмы с авоськой, в которой всегда была передача для братьев, — крохотный кусок черного хлеба, пара луковиц, несколько вареных картошек. Бывают дни, меняющие человека больше, чем годы. Именно такие дни пережила Нина. Она стала замкнутее, хитрее, настороженнее, все о чем-то думала, до белизны в суставах сжимала кулачки, сдвигала прямые густые брови над переносицей и нетерпеливо топала ногой.

— Ну, ладно же!..

Она была вся как пружина, как заряд в патроне, глаза горели, на лице обозначились резкие линии.

Однажды Яша, улучив момент, когда жандарм отвел глаза в сторону, жестами показал Нине, чтобы она принесла ему с передачей карандаш.

Долго мудрила Нина, как бы так запрятать карандаш, чтобы его не обнаружили при проверке. Наконец додумалась: в плетеной из кожаных лоскутов ручке авоськи просверлила отверстие и засунула в него карандашный грифель, завернутый в кусочек бумаги. Хит-

рость удалась: жандармы не обнаружили недозволенного вложения. Но... и Яша тоже не догадался, что в ручке авоськи надо искать запретную передачу. Он вынул продукты, авоську передал обратно.

Три раза побывала авоська в Яшиных руках. И три раза карандашный грифель возвращался к Нине. Нина чуть не плакала с досады, а передать Яше, чтобы он обратил внимание на ручку авоськи, никак не могла. Яков Кондратьевич посоветовал дочке сделать уксусной кислотой надпись на скорлупе яйца «посмотри ручку авоськи», дать надписи просохнуть, а затем сварить яйцо. Так когда-то делали матросы, посылая весточки своим товарищам-революционерам в царскую тюрьму. Пройдя через скорлупу, кислота осядет на белке голубоватой надписью. После этого даже под сильным микроскопом на скорлупе не удастся обнаружить никаких следов. Но и этот способ не годился — надзиратели принимали к передаче только чищенные яйца...

— Мама, у тебя припрятано немножко муки. Дай мне ее, — попросила Нина.

— И все ты находишь, ничего от тебя не спрячешь, — заворчала Матрена Демидовна. — Не дам я тебе ни горсточки, ни пылиночки. Ту муку я на свои девичьи серьги выменяла, для отца берегу. Нынешний хлеб, пополам со жмыхом да половой, есть ему нельзя, так я ему хоть раз в три дня какой коржик испеку или лапши сварю тарелочку.

— Мама, — не отставала Нина. — Леша и Яша так любят варенички с капустой. Давай сварим им хоть немножко... Ну хоть десяточек. Им же там, кроме баланды, ничего не дают, а мы все лук да картошку... Хоть по вареничку...

Матрена Демидовна протерла кончиком платка очки, посмотрела на дочку.

— Уже что-то придумала сорока?

— Придумала, мама. У меня есть кусочек вощенной бумаги, я напишу записочку и залеплю ее в вареник...

— Ой, смотри, Нинка, схватят тебя полицаи, прибьют до смерти.

— Я им глаза повыцарапаю!

— Ой, где ты взялась, отчаюга! Из-за тебя и нас с отцом на живодерню сведут!

Но муки на варенички все-таки дала.

— А ты, доченька, в той записке от меня словечко можешь написать?

— Ну что вы, мама. В записке — самое нужное...

— А может, словечко матери им сейчас и есть самое нужное?

— Мамочка, — прижалась головой к матери Нина, — записка крохотная, в ней всего-то два слова: посмотри ручку. Нельзя больше, жандармы заметят.

— Ну хорошо, — вздохнула Матрена Демидовна. — В другой раз... В другой раз обязательно напиши от меня.

На следующий день Нина пришла в следственную тюрьму при сигуранце.

— Буна дзиа, домнул шефульс. Добрый день, господин начальник, — поздоровалась Нина с усатым дядькой в темно-желтой шинели, подпоясанной широким ремнем, на котором болталась кобура пистолета.

Дежурный жандарм поднял удивленные коровьи глаза на Нину:

— Шты руманешты? (Говоришь по-румынски?)

— Ну шты, пуцын шты. (Нет. Плохо говорю.)

— О! Бине фетица! Хорошая девочка! — расплылся в улыбке жандарм. Ему явно льстило приветствие на родном языке. А девочка так похожа на маленькую Мариулу, что ждет не дождется отца с восточного похода. Право же, Йон Гайнеску не всегда был тюремщиком. Это война всему виной. Не война бы, так Йон, как

и его отец, всю жизнь гонял бы отару по кудрявым склонам Карпат. Ой-ой, как хочется Йону на берег Быстрицы, повидать маленькую Мариулу, обнять жену... Но об этом он даже думать долго не смеет: не дай бог, капрал заметит!.. Гайнеску хмурит густые, косматые, как соломенная стреха на старой хате, брови.

— Чи вре? Что хочешь, домнишора?

— Повтым, домнул, пожалуйста, господин, примите передачу для Якова Гордиенко, — ласково попросила Нина.

— Вчера Якову Гордиенко передача была, — с трудом подбирая русские слова, ответил дежурный.

— Господин начальник, ему же разрешено каждый день передачу носить, — еще ласковее сказала Нина, вынимая из авоськи пачку сигарет.

— Сигареты запрещено передавать, — снова поднял брови дежурный. — Можно только махорку россыпью.

— Так это не для передачи, это вам, господин начальник. — Нина осторожно положила сигареты на стол под самый нос дежурному.

— Ты смотри у меня, девка, — забубнил дежурный по-румынски. — Нам подношение всякое запрещено... При исполнении службы...

Он, не глядя на Нину, протянул руку, сгреб пачку и сунул ее в карман шинели.

— Что там?

— Пару картошек вареных, да луковички, да немножко вареничков мама сварила.

Он взял из рук Нины авоську и высыпал все ее содержимое на стол. Потом начал перекладывать по одной штучке со стола в авоську:

— Картоф можно. Лук можно. Вареники... варенички...

Он подержал в руках вареник, помял его, проверяя на ощупь начинку.

— Де че вареник?

— С капустой, господин начальник.

— Так, капуста... Ну, капуста... Таре ка петра — твердуй. Понимаешь: твердуй камень.

— Яичка не было, господин начальник, пришлось тесто покруче замесить, чтобы не разварились, потому и твердые.

— Так, капустой, — дежурный разломил вареник прокуренными узловатыми пальцами, поковырял обломанным ногтем пережаренную с луком капусту, бросил в авоську: — Се поте — это можно.

Разломил второй:

— Се поте...

Третий:

— Се поте...

У Нины потемнело в глазах. И в ушах зашумело, будто морской прибой плеснул рядом. Сейчас он разломит еще вареник, увидит записочку, и тогда...

— Господин начальник, — чуть слышно сказала Нина. — Что же вы так все вареники перемнете, брату ж неприятно будет есть их...

— Гм... — удивленно посмотрел на Нину дежурный. Он никак не мог понять, чего от него хочет эта девчонка. Но разламывать вареники перестал. Кинул несколько штук себе в рот, прочавкал, вытер усы:

— Сухой вареники. Вареники масло любит. Мульти, много масло...

— Мало масла, господин начальник, — покорно согласилась Нина. — Мало масла. С луком пережаренное — хорошо, это правда.

Он сгреб рукой оставшиеся вареники, как сгребают мусор, со стола в авоську, облизал пальцы:

— Гут. Буне. Карош.

— Авоську ждать буду, господин начальник, — пока-

зала Нина пальцем сперва на плетеную из кожаных лоскутков сетку, потом на себя.

...В тот день Нина вынула из плетеной ручки авоськи первое Яшино письмо, короткое, торопливое:

Здравствуйте, дорогие!

Не горюйте и не плачьте. Если буду жив — хорошо, а если нет, то что сделаешь. Это Родина требует. Все равно наша возьмет. Как здоровье батьки? Мы здоровы.

Привет. Целую крепко-крепко.

Яков.

24. Побег

— Мягче, мягче! — настаивал Ионеску. — Снимите с него кандалы. Дайте ему поверить, что он и в самом деле останется жив. Пусть передают ему все, что хотят: продукты, одежду, даже книги, конечно не политические. Пусть пишут ему записки, только копии этих записок должны поступать к вам, майор Курерару... И надо подорвать к нему доверие остальных арестованных.

Распоряжения Ионеску и Курерару сбивали с толку охрану тюрьмы и надзирателей. Жандармы начали смотреть на Яшу с опаской — молодой, видать, да ранний. Даже Нинину авоську проверяли все реже и менее тщательно: не дай бог, пожалуется девчонка начальнику следственного отдела — ни зубов, ни ребер недосчитаться!

И шли двумя потоками письма Яши из тюрьмы.

Открыто:

Спасибо за передачу. Как здоровье бати? Не унывайте, у нас все хорошо. Привет тете Домне, Лиде, Лене. Принесите молока, хлеба, черные брюки...

Через потайную щель в ручке авоськи, в загибе камышовой корзинки или под двойным дном сумки:

Как дела на фронте? Правда ли, что наши отбили Харьков? В бутылке с ряженкой можно спрятать пилочку для резки металла. Нина, разбери пол в мастерской под моим станком, там пистолет и патроны. Пистолет зашейте в дно сумки и передайте мне. Патроны — в ряженку. Самогон закрасьте молоком, для них годится. Это ничего что будет запах, все равно пить его будут надзиратели и охранники. Они знают...

— Ты бы хоть писульку мою передал для Юльки, — попросил однажды Яшу Алексей.

— Вот выпутаемся, налюбимся еще со своей Юлькой. А сейчас нельзя, — решительно отрезал Яша. — О записках только Нина да мать, да еще, кому надо, знать должны.

— Думаешь, выпутаемся?

— Надо выпутаться.

— А выпутаемся, так я... Ох, похрустят фашистские косточки! Мы им покажем желто-зеленую жизнь!

...Шли передачи Яше в тюрьму.

Бутылки с ряженкой (на дне патроны), бутылки с самогоном; в потайных щелях — листовки, расклеенные партизанами в городе, записанные городские слухи о сводках Совинформбюро, о настроениях населения, о том, что в Николаеве будто бы вспыхнуло восстание рабочих, перешедшее в уличные бои... В Усатове был большой бой партизан с карателями...

Живы катакомбисты! Сознание того, что не все арестованы, что в катакомбах сохранился отряд, придавало сил, будоражило мечту о побеге. Заряженный пятью патронами пистолет уже лежал в кармане Яшиного бушлата. Планы побега обсуждали шепотом, после полуночи, когда надзиратели выключали свет в камере. Планов было много. Их принимали — и тут же отвергали. О них спорили до головной боли... После долгих споров решили попроситься у тюремного начальства на работу — пи-

лить дрова для бани. Обычно для этой работы назначали троих: двое пилили, один придерживал бревно. Старшему тюремщику — толстому, обрюзгшему румыну — дали бутылку самогону, переданного Ниной. Вторую бутылку распили жандармы — коридорные.

Решили в первый раз ограничиться разведкой: посмотреть двор, прикинуть, где, когда и как лучше будет разделаться с конвоирами, перебраться через забор. Пошли Яша, Шурик Хорошенко и Саша Чиков.

Двор оказался захлавленной и грязной дырой метров в тридцать в длину и столько же в ширину. С трех сторон поднимались высокие глухие стены каменных зданий — ни щели между ними, ни окна, рукой зацепиться и то не за что. С четвертой стороны двор отгораживался от соседнего двора высоким дощатым забором, вдоль которого была натянута колючая проволока. На самом дворе — беспорядочные штабеля дров, кучи тонких и толстых бревен, какие-то ящики, доски, разбитые дверные рамы, сломанные барабаны из-под кабеля.

Конвоировали ребят два пожилых румына. Один сразу же куда-то ушел, второй — рябой, седоусый толстяк в короткой шинели и высокой папахе, похожий на дядьку-молдаванина, торговавшего на Привозе домашним вином, — взобрался на поломанную телегу, стоявшую недалеко от ворот, положил на колени автомат и дремал, пригретый мартовским солнцем, как ленивый кот на припечке.

Ребята без кандалов (конвойные сняли их на время работы) будто новые силы обрели — потрудились на славу, напилили столько колод, что вернувшийся к концу работы высокий и черный, как жук, конвоир довольно прищелкнул языком и, похлопав ладонью Шурика Хорошенко по широкой спине, что-то весело сказал порумынски своему напарнику. Может, ему, работяге, кре-

стьянину из Молдовы или лесорубу из Добруджи, по душе пришлись сильные, работающие парни. Может, ему и самому хотелось в этот весенний день скинуть к дьяволу шинель, засучить рукава да попотеть над любимым делом. У трудового человека всегда, а ранней весной особо, к работе руки чешутся, и не вина его, а беда его была в том, что в работающих руках — автомат, а не лопата виноградаря или топор лесоруба.

Когда вернулись в тюрьму, высокий конвоир что-то сказал старшему тюремщику, показывая на заключенных. Тот кивнул ему в ответ головой, а ребятам сказал по-русски:

— Хвалит вас. Следующий раз, если захотите проветриться, снова пошлою.

Ребята всю ночь шептались, обсуждая детали побега. Добряк Хорошенко предложил:

— Может, не надо губить конвойного? Обезоружим, свяжем, кляп в рот заткнем и все? А?..

— Не мудри, Шурик, — возразил Алексей. — Война есть война. Если в случае чего, он в тебя пулю всадит и не сморгнет. А нам время терять на возню с ним нельзя.

Но следующего раза ждать пришлось долго, целых две недели. А в камере произошли перемены. В канун побега Шурика Хорошенко перевели в другую камеру, а вместо него пригнали опять Бойко. Он очень осунулся, постарел, запаршивел, руки и ноги шелушились от экзе-мы. Ночью, когда Яша и Алексей уснули, подозвал к себе Сашу Чикова, прошептал:

— Что это Яков один у нас без кандалов гуляет? И свидания, и передачи ему чуть не каждый день? Что-то не слыхал я, чтобы в сигуранце такие блага предоставлялись за здорово живешь...

Саша выслушал Бойко, долго сопел в темноте, кашлял и плевался, а потом сказал почти спокойно:

— Петр Иванович, с вашим Володей я учился когда-то в одном классе. Стало быть, вы и мне в отцы годидесь — ни выругать, ни дать вам по шее я не могу, хотя и жалею об этом. Но если Яша узнает о ваших подозрениях, он горячий, может не сдержаться, так что лучше вы уж помалкивайте, Петр Иванович.

...На работу пошли втроем: Яша, Алексей и Саша Чиков. Звали и Бойко. Но он отказался: мол, я свое пожил, а вы молодые, вам на волю надо.

Стоял солнечный мартовский день. Даже брусчатка на банном дворе исходила паром. А сверху, вместе с лучами солнца, лился занесенный из пригородов аромат прогретой земли, молодой травки, абрикосовых почек и то тонкое, еле уловимое благоухание, которое только в Причерноморье и только ранней весной и носится кругом, насыщает и переполняет воздух.

Выбирая бревно для распила, не сговариваясь, отложили в сторону два тонких сучковатых сосновых ствола, их легко будет быстро приставить к забору и по сучкам, как по ступенькам лестницы, взбежать наверх. Подтащили на козлы длинное неокоренное бревно, густо усыпанное пятнистыми божьими коровками, красными веснянками, какими-то жучками, комашками, блошками, которые проснулись, возились, суетились, ползали... Алексей и Чиков взяли пилу. Яша оседлал бревно, обхватил руками, чтобы оно не качалось на козлах. Искоса поглядывал на конвоиров. Это были те же самые, что и в прошлый раз, два дядька, одетые в черно-желтые помятые мундиры. Хотя бы скорей ушел этот высокий черный добряк. Уж очень не хочется в него стрелять. Но конвоиры закуривали, повесив автоматы на шею, о чем-то переговаривались, незлобиво поглядывая на арестантов. Надо подождать, пока один из них уйдет, а другого разморит солнце, и тогда...

Калитка в воротах заскрипела и открылась, пропус-

кая начальника тюремной охраны. За ним вскочило еще человек десять автоматчиков и, о чем-то крича, побежали мимо Яши в дальний угол двора. «Вот не повезло, — подумал Яша. — Угораздило же этого идиота — начальника охраны — проводить занятие со своими подчиненными именно во дворе бани и именно сегодня. Ну, ничего, это на час-два не больше».

Начальник что-то закричал конвойным, те вытянулись, забегали глазами, потом кинулись к арестованному, жестами показывая, чтобы они бросили пилу.

— Ласе! Дуте ынкышоры! Довольно, идите в тюрьму!

Четверо подошли к Яше. Один из них, здоровила с обрюзгшим лицом, бросился на Яшу. Гордиенко инстинктивно отпрянул в сторону, но сзади несколько человек схватили его за руки. Чем-то тяжелым ударили по голове.

В последнюю минуту Яша увидел, как Алеша, схватив двумя руками колун, отбивался от наседавших на него охранников, как трое румын повалили на землю Чикова и размашисто, с хриплым придыханием били Сашу ногами.

Очнулся Яша в камере, среди огромной лужи. Его поливали водой из шланга.

— Дештул! Хватит! — сказал кто-то. — Он уже пришел в себя.

Яша открыл глаза и увидел перед собой скалящего зубы Чорбу. Чуть в сторонке стояли Курерару, начальник охраны и тот оловянноглазый капитан, что арестовывал Яшу на Нежинской.

— Приступайте, капитан Аргир, — кивнул оловянноглазому Курерару.

Тот подал какой-то знак, и четыре сильные руки встряхнули Яшу, поставили его на ноги.

— Федорович! — громко позвал Аргир. — Скажите ему, пусть ведет себя благоразумно.

Только теперь Яша заметил Бойко-Федоровича. Он стоял сзади офицеров в длинном коричневом пальто, без шапки. Федорович подошел к Гордиенко.

— Брось, Яков, запирайтесь, это ни к чему хорошему не приведет.

Он что-то говорил еще, но Яша почувствовал, как его подхватила какая-то сила, качнула из стороны в сторону, закружила, завертела так, что в глазах пошли красные круги и зазвенело в ушах. Сперва тот звон нарастал, бил по вискам, превращаясь в колокольный гул, потом стал все тише и глуше, и откуда-то издали, как через стену, доносился голос предателя Федоровича:

— Очевидна бессмысленность игры в тайну там, где никакой тайны уже нет. Наше дело проиграно, Яков. Надо думать о спасении самих себя, пока еще не поздно.

Яша снова открыл глаза. Камера все еще покачивалась из стороны в сторону. И вместе с камерой качался стоявший перед ним Федорович.

— Нам дают последнюю возможность, Яков. Последнюю, ты понимаешь? Потеряем ее, тогда — все. Жизнь дважды не дается, Яков. Она не окурок: потухнет, второй раз не прикуришь.

Яше казалось, что Федорович только шевелит губами, а голос исходит откуда-то сверху, скрипучий, как виселичная перекладина.

— Все потерять можно, — ответил Яша, с трудом разжимая онемевшие челюсти. Голос его тоже казался ему чужим, исходящим не от него, а откуда-то со стороны. — Все потерять можно... и снова найти... Все, кроме чести. Ее не вернуть.

— Брось, Яков! — презрительно скривил губы Федорович. — Игра сыграна. Большевиков добивают на Кубани. Им не вернуться. А у тебя — мать, больной отец, сестренка... Кроме тебя, о них позаботиться некому. Подумай, Яшко...

— Я думал... Я думал, что ты только трус, Федорович. А ты... А ты... — Яша не сумел подобрать подходящего слова. — Уйди, гад! Уйди!

Его избили в тот день так, что куски одежды вросли в тело. Но он не сказал больше ни слова.

На другой день Нина вынула из тайника в сумке записку:

Мне дали очную ставку со Стариком. Он меня продал с ног до головы. Я отнекивался. Меня начали бить. Три раза принимались бить в течение четырех или пяти часов. За это время я три раза терял память и один раз притворился, что потерял сознание. Били резиной, опутанной тонкой проволокой, грабовой палкой метра в полтора. По жилам на руках били железным прутком. После побоев у меня остались раны на руках, ногах и выше...

Я сознался лишь в том, что знал Старик, а именно, в том, что был связным в отряде, пристрелил провокатора А. Садового. Конечно, в сизуранце знают, что я был командиром молодежной группы. Тех, кого знал Старик, Алешу и Шурика, арестовали, а другие из моей группы гуляют на воле. Никакие пытки не вырвали у меня их фамилий...

А через два дня Яше сообщили, что Алеша и Саша Чиков расстреляны по приговору военно-полевого суда за попытку к бегству.

25. Письма

В последнюю ночь июня Молодцова-Бадаева и Тамару Межигурскую воровски, тайком от заключенных вывели палачи из тюрьмы и расстреляли в степи. Яшу бросили в одиночную камеру на четвертом этаже центральной тюрьмы.

Снова разрешили свидания — два раза в неделю. Но Нина нашла способ чаще видеться с братом.

Через дорогу от тюрьмы стояло разбитое во время бомбежки и заброшенное многоэтажное здание. Взрывом обрушило почти все внутренние перегородки и часть междуэтажных перекрытий. Осталась только коробка дома, да на самом верху угловая комната, выходящая разрушенной стеной на тюрьму. Нина забиралась в эту комнату по остаткам лестничной клетки и провисшей арматуре и, пользуясь семафорной азбукой, как это делают матросы в открытом море, передавала Яше приветы родных и городские новости. Каким чудом взбирался Яша к своему крошечному зарешеченному окну под самым потолком — Нина не знала, но иногда она видела в темном проеме тюремного окна смутные очертания его лица и кисть руки, сигналившей: спасибо, все хорошо.

В четверг 30 июля на свидании Яша попросил, чтобы Нина не задерживалась.

— Иди домой, Нина, сразу же, — устало сказал Яша. — Передай, что мне хорошо, что я очень спокоен... И еще, сестренка, береги себя, я верю в твое счастье... Иди, Нина, мне хорошо, я сегодня хочу спокойно поспать.

Как ни ласково говорил с ней Яша, как ни убеждал, что ему хорошо, слова его вызывали тревогу и слезы.

Нина пришла домой. Мамы не было, ушла, наверное, к тете Домне, матери Саши Чикова. Нине было очень тоскливо в пустой квартире и, чтобы не раскиснуть и не расплакаться, она достала из тайника Яшины письма, разложила их перед собой, перечитывала, словно училась по ним Яшиной стойкости, Яшиному мужеству и выдержке.

Здравствуйте, дорогие!

Пришлите бумаги, карандаш и самобрейку. Бросьте

вечное гадание на картах. Все это чепуха... Я вас просил, чтобы вы писали разборчиво, на ровной бумаге. Пишете на обрывках. Ничего понять нельзя. Неужели так трудно писать чисто? Напишите подробно, в чьих руках Харьков и что вы знаете про Николаев. Почему нет ответа от Васиных? Я верю, что буду жить и на воле, но не через суд.

Целую крепко-крепко.

Яша.

Здравствуйте, дорогие!

Не горюйте и не плачьте. Все равно наша возьмет... В четверг, если возьмете свидание, пусть придет Лида. Только обязательно. Книгу и газеты. Ответ от Лены? Как здоровье батки? Как к вам во дворе относятся?

Привет.

Целую крепко-крепко.

Яков.

7.6.42.

После смертного приговора Яша снова готовился к побегу, теперь уже из центральной тюрьмы, просил передать оружие, черную одежду, чтобы была незаметной ночью, самогон и водку для надзирателей охраны.

Нина, это письмо передай Лене (Красный).

К этой записке была приложена вторая, побольше. Но Яша сложил ее вдвое и склеил хлебным мякишем, чтобы даже Нина не прочитала.

Нина до этого только однажды видела Лену Бомм — высокую, стройную, с глазами, как лесные озера, то синими, то зелеными. Знала, что она сестра Яшиного друга, Фимки. Больше ничего.

Нина сходила в Красный переулоч, но Лены дома не застала.

— Линда на работе, — сказала толстая седая женщина, открывая Нине дверь.

— Разве она работает?

— Да. В ресторане «Южная ночь».

Нина нашла ее в ресторане, возле буфета. Белые волосы коротко стрижены, мочки ушей нарумянены по румынской моде, шея вся голая, на тонкой цепочке серебряный крестик спускается, как паучок по паутинке. Стояла и что-то щебетала пожилому напояженному пьяному офицеру. Увидела Нину — загорелась вся, но быстро взяла себя в руки, наигранно повела бровью, скривила тонкие губы.

— Тебе что, девочка?

А Нину зло взяло: Яша в тюрьме, брат ее тоже, небось не мед ложкой хлебает, а она, вишь ты, фигли-мигли старику строит. Взяла и брякнула сразу:

— От Яши письмо тебе.

— Вот как! — и так плечиком дернула, что, Нина чуть не заплакала от обиды.

Лена письмо взяла все-таки. Прочитала и рассмеялась Нине в лицо:

— Ха-ха! Ты, девочка, небось тоже думаешь, что я твоему братцу пара? Да?.. Ну что же ты не смотришь на меня? Смотри, девочка, смотри. Правда же я — красивая?.. Ну зачем же мне нужен твой брат? Зачем?..

Нина вынесла все — унижение, обиду, стыд. Ей хотелось провалиться сквозь землю, только бы не слышать этих насмешек, этих издевок над ее братом. Она не убежала только потому, что знала: Яша ни за что не поверит, что Лена так могла говорить о нем, такими насмешками встретила его письмо. Но как она возненавидела эту напудренную, нарумяненную, раскрашенную куклу! А та взяла изорвала Яшино письмо на мелкие-мелкие кусочки, скатала их шариками и по одому побросала в мусорницу.

— Вот так и передай своему братцу, девочка. Так и передай... Ну, что же ты стоишь?.. Ах, ждешь письменного ответа? Ну что ж, изволь!

Она ловко выхватила из кармана пьяно покачивающегося офицера карандаш.

— Но-но, мадемуазель... — захлопал глазами офицер.

Но Лена состроила ему такую милую рожицу и так кокетливо улыбнулась, что он тотчас растаял.

Лена торопливо начиркала записку, вырвала листок. Кончиками пальцев, словно боялась прикоснуться рукой к руке, протянула записку Нине.

— Возьми. Можешь передать.

Нина чуть не изорвала записку, прочитав ее дома: «Привет из «Южной ночи»! Я счастлива. А ты? Самое глупое, что ты мог придумать, это попасть в тюрьму. И еще — писать мне!» И подписано каким-то странным словом «Ли»! Вовсе и на имя не похоже! И еще, вместо восклицательного знака — высокая черточка с перекрестьем вверху...

Нина долго не решалась передать это письмо Яше — ему и без этого горя не обобратся. Но Яша на каждом свидании, в каждой записке спрашивал о Лене, и Нина решилась наконец.

Каково же было ее удивление, когда Яша, прочитав письмо тут же, на свидании, чего раньше никогда не делал, прижал письмо к щеке и странно-странно улыбнулся... Видно, многое рассказали Яше и короткая подпись — Ли, и та длинная вертикальная черточка с перекрестьем наверху — будто от маяка лучи в разные стороны! Значок, придуманный детьми-романтиками, все-таки сослужил свою службу.

— Не ходи больше к ней, Нина, — сказал Яша. Но сказал таким голосом, будто вот-вот заплачет от счастья: «Нашла-таки Лена тропку к моим друзьям!»

Не показывай батьке и маме.

Нина, это для Лиды и тети Домны. Если вы боитесь заложить в торбу, то возьмите тесто и испеките

хлеб весом в полтора-два килограмма и в него запеки-те то, что я просил. Смотрите, ту штуку заверните в мас-ляную бумагу, вложите в тесто и испеките хлеб. Зало-жите туда и патроны.

Яков.

14.07.42.

Эх, Яша, Яша! Будто не знаешь, что за свиданиями со смертниками следят особенно строго, ничего передать невозможно без осмотра темнищера, а передачи осматривают опытные тюремщики и разница в весе обыкновенной буханки и буханки с запеченным револьвером была бы сразу обнаружена. Яша, Яша. Не наша вина в том, что до сих пор не смогли передать тебе оружие. Ничего, передадим еще!..

Здравствуйте, дорогие! Пришлите газету. Какое по-ложение в городе? Что вообще слышно? Мне осталось жить восемь или десять дней до утверждения приговора.

Я отлично знаю, что меня не помилуют. Им известно, кто я такой. Все из-за провокатора. Запомните его фа-милию, запишите, а когда придут Советы, то отнесите куда надо. Это провокатор — Бойко, Петр Иванович, он же — Федорович, Антон Брониславович... Он продал своих товарищей, продал нас и еще раз продал, когда мы думали бежать из сигуранцы... Но я думаю, что Старик у тоже придет конец. Его должны убить как со-баку. Еще ни один провокатор не оставался жить, не умирал своей смертью. Так будет и с этим. Мне и моим товарищам было бы легче умирать, если бы мы знали, что эту собаку прибили.

Не унывайте! Все равно наша возьмет. Еще рассчиты-ваются со всеми гадами. Я думаю еще побороться с ними. Если только удастся. А если нет, умру как пат-риот, как сын своего народа...

Здравствуйте!

Я вас просил, чтобы вы передали черные брюки. Решите, чтобы они были мне впору. Белых присылать не надо. Как здоровье батьки? Какое положение в городе? Книгу. Почему нет газеты? Добейтесь свидания. Нашему этапу запрещают смотреть в окна. Что слышно на фронте?..

Привет всем. Целую крепко-крепко.

Яша.

22.07.42.

А это письмо Нина принесла сегодня. Прочитала второпях — за слезами строчек не видела. Теперь перечитала его снова.

Здравствуйте, дорогие!

Я заложил записку на дно сумки под подкладку. Возьмите ее и сейчас же исполните то, о чем я вас прошу. В записке объяснение. Когда будете передавать завтра вторую передачу, пришлите все, что я прошу. Как здоровье батьки? Привет всем родственникам.

Целую крепко.

Яша.

Если расстреляют, то требуйте вещи: пальто, одеяло, подушку и прочее барахло, не оставляйте этим гадам.

Значит, в сумке под подкладкой еще записка: Нина высыпала все из сумки на пол, рванула подкладку. Под ней лежало несколько тетрадных листков, исписанных неровными карандашными строчками. Письмо было датировано двадцать седьмым июля. Значит, Яша написал это заранее, еще в понедельник, а может, писал сразу после воскресного свидания.

Дорогие родители!!!

Пишу вам последнюю свою записку. Сегодня испол-

нилось ровно месяц со дня объявления приговора. Мой срок истекает, и я, может быть, не доживу до следующей передачи...

Жаль, что не успели развернуться. Наша группа еще многое могла бы сделать... Я рассчитывал на побег. Но здесь пару дней назад уголовники собирались бежать, их зашухерили. Они только нагадили. Сейчас нет возможности бежать, а времени осталось очень мало, может, последняя ночь.

Вы не унывайте. Жалею, что не успел обеспечить вас материально. Но Саша Хорошенко поклялся мне, что, если будет на воле, он вас не оставит в беде. Можете быть уверены, он будет на свободе. Он осужден к вечной каторге, у него время есть, и он подберет нужный момент улизнуть из тюрьмы. Наше дело все равно победит. Советы этой зимой стряхнут с нашей земли фашистских захватчиков и их прихвостней. За кровь расстрелянных партизан они ответят. Мне только больно, что в ту минуту я не смогу помочь моим друзьям по духу.

Достаньте мои документы. Они закопаны в сарае. Под первой доской от точила. Там лежит фото моих друзей и подруг, мой комсомольский билет. Там есть фото Вовки Федоровича, отнесите его на Лютеранский переулок, 7, Нине Георгиевне. Это Вовкина мать. Мать моего лучшего друга. Не сердитесь на него, что его отец оказался таким подлецом. Он комсомолец и будет верен власти Советов. Мы выросли и воспитались в духе свободы. Вы ей отнесите, и пусть она даст переснять, а фото заберите себе... Может быть, вы его когда-нибудь встретите. В тайнике есть и мои письма. Есть там и корбочка, можете ее вскрыть. В ней — клятва. Мы клялись в вечной дружбе и солидарности друг другу. Но все очутились в разных концах. Я приговорен к расстрелу. Вова, Миша и Абраша эвакуировались. Эх, славные бы-

ли ребята! Может быть, кого-нибудь встретите. Эти тоже не уступят тем, что сражались в гражданскую...

Прощайте, дорогие. Пусть батька выздоравливает, этого я хочу. Прошу только не забывать про нас и отомстить провокаторам. Передайте привет Лене.

Целую всех крепко-крепко. Не падайте духом. Крепитесь. Привет всем родным.

Победа будет за нами.

Яша.

27.07.42 г.

26. Смело, товарищи, в ногу!

Яша старался не думать о Федоровиче, но он чувствовал его, как чувствуют под кожей занозу, которая действует на нервы и почти непрерывно напоминает о себе. Он терзался мыслью, что не прикончил Старика в тот раз, и Старик как ни в чем не бывало разгуливает теперь по Одессе и, словно ядовитая муха, переносит заразу с одного места на другое. А Лешу и Сашу убили... А Тамару и Бадаева расстреляли... А Лена пошла в ресторан Латкина, может, ее тоже уже арестовали?.. Это нестерпимо мучило Яшу.

Но самое мучительное было сегодня. Трудно было молчать на допросах или ответами приводить в бешенство палачей. Тяжело было сохранять мужество под пытками... Но тяжелее всего было сегодня уговаривать Нину скорее уйти домой, зная, что это последнее свидание, что больше Нину он никогда не увидит.

Еще ночью тюремный телеграф сообщил: сегодня расстреляют. Он знал: расстреливают вечером, до наступления сумерек — бояться, чтобы не разбежались в темноте заключенные или чтобы партизаны не устроили налет во время казни. Он знал: расстреливают здесь

же, у тюрьмы, на Стрельбищном поле. И не хотел, чтобы Нина услышала выстрелы...

Ему страшно тяжело было уговаривать Нину. И, вернувшись в камеру, он упал на мокрый цементный пол, прижался к нему щекой, раскинул обессиленные руки, закрыл глаза. Надо уснуть, набраться сил — впереди еще борьба, враги не должны увидеть его слабым... Те, в двадцатом, никогда не были слабыми... И Алеша отбивался колуном до последнего... И чекист Бадаев, конечно, высоко держал голову, когда в него стреляли! «Я бы навек полюбила... я бы такому всю жизнь отдала». Что это? Галлюцинация? Или он в самом деле слышит голос Ли?..

Еще несколько минут Яша лежит неподвижно, прислушивается... Тихо. Что-то шуршит, кто-то дышит рядом...

Яша открывает глаза, приподнимает голову. Тесная, как гроб, камера. Сквозь узкую зарешеченную щель под самым потолком едва сочится дневной свет. У двери — зловонная параша. В стену вмурован железный стул. В углу — пальто и одеяло в бурых пятнах засохшей крови. И сверху, на грязной подушке, — огромная серая крыса. Она, не переставая часто-часто двигает челюстью, сторожко уставилась на него круглыми, как смородина, глазами. «Плохи твои дела, Яша, очень плохи, если даже эта тварь тебя не боится!» — подумал Гордиенко и, не поднимаясь, плюнул в крысу. Она юркнула и исчезла в норе.

— Врешь! Я живой еще! — крикнул Яша, поднимаясь на ноги. Крикнул не крысе, а всем тем, кто ждал его за дверью, в тюремном вестибюле, на Стрельбищном поле.

А они уже ждали его...

...В вестибюле проволокой связали им руки.

— Я без костылей пойду, Яшко. Можно будет, случай

чего, о тебя опереться? — обратился к Гордиенко заросший черной щетиной узник на деревянной ноге.

Яша с трудом узнал Михаила Бунько.

— Дядь Миш! Милый ты мой!

— Признал! — обрадовался Бунько. — А я думал, меня так изуродовали, что...

У бывшего юнга с «Синоп» сверкнули на глазах слезы, но он сразу же тряхнул лохматой головой и, улыбаясь, скрипнул зубами.

— А я рад, что вместе. Понял?.. Мы им покажем, как падо... Смотри. У меня тоже...

Дядь Миш выпятил грудь — под расстегнутой блузой виднелся кончик матросской тельняшки.

...Их было шестеро.

Впереди — Яша Гордиенко. Бледный, лобастый, широкоскулый, с черными, разлетистыми, как крылья чайки, бровями. В шапке каштановых волос с медным отливом. В матросской тельняшке, припрятанной в камере для этого случая...

Слева бодрился, все время поглядывая на Яшу, горько улыбался одними губами Михаил Бунько. Справа — какой-то парень, кажется шофер, фамилию его Яша не мог припомнить. Сзади — во втором ряду, постаревшие и осунувшиеся знакомые Яше подпольщики.

...За высокими тюремными стенами не видно было закатного солнца, только багровый отсвет ложился на белое облачко в самом зените.

— Видишь, — шепнул, припадая на деревяшку, Бунько, боявшийся отстать от спокойно шагавшего Гордиенко. — Как знамя над нами... Алое...

Справа вдруг всхлипнул парень-шофер.

Яша обернулся к нему.

У парня тряслись посиневшие губы. По мертвенно бледному лицу текли слезы. Тусклые, как у сонной скумбрии, глаза были налиты ужасом.

— Смелее, друг! — кинул ему шепотом Яша. — Смелее, не надо показывать гадам свой страх!

Но парень уже не владел собою. Рыдания прорывались из груди помимо его воли.

— Смело, товарищ! Смело! — храбрил его Яша. — Смело! — крикнул он властно и, подняв глаза к алому облаку в зените, решительно, мужественно, радостно:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе...

— Прекратить! — закричал начальник конвоя, подсакивая к Яше и потрясая пистолетом перед самым его лицом.

Но Яша не видел и не слышал его. Он только видел алое облако в небе, будто распахнутое знамя. Он только слышал, как рядом подхватил песню Михаил Бунько:

В царство свободы доро-огу...

И сзади зарокотали голоса:

Грудью проложим себе!

— Прекратить! — надрывался начальник конвоя. — Конвой!

Конвойные сперва растерялись, потом бросились к узникам, кулаками, прикладами автоматов, черенками лопат начали избивать связанных, измученных, но страшных в непокорности, страшных в экстазе людей. Но песня как пламя костра в сосновом бору! Подхваченное ветром, взмывает оно по хвое, по сухим веткам и смолистым сучьям вверх, и могучие кроны великанов неожиданно взрываются неукротимым лесным пожаром. Так Яшина песня, достигнув тюремных окон, вдруг вспыхнула тысячами голосов. Тюрьма рокотала. Теперь уже песню ничто не могло унять.

Не сбавляя шага, Яша оглянулся на окна тюрьмы и снова запел:

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой...

Вдруг начальник конвоя выхватил из рук жандарма автомат и, отбежав в сторону, закричал:

— Конвой! Ин латуры! Гай репед де парте! *

Никто, кроме румынских конвойных, не понял страшного смысла этого крика. Жандармы бросились в стороны. И тотчас ударили автоматные очереди. Одна... вторая... по идущим на казнь... Третьей очереди — по окнам тюрьмы — Яша уже не слышал.

Падая, Яша увидел, как багряное облако вспыхнуло и развернулось огромным полотнищем во все небо.

Падая, Яша слышал, как рокотало вокруг:

Братский союз и свобода —
Вот наш девиз боевой!..

27. Флаги над городом

Матрена Демидовна с Ниной переехали с Нежинской на Бебеля. В многоквартирном доме и людном дворе Гордиенки затерялись. Здесь их никто не знал, а может, кто и знал, да виду не подавал, чтобы не навлечь на них беду.

Нина потеряла всякие связи с подпольщиками. Пошла было еще раз в Нерубайское к деду Кужелю, но узнала, что схватила его сигуранца через неделю после ареста Бадаева, и старый шахтер, боясь проговориться

* Конвой! Прочь! Быстро бегите в стороны!

во сне о том, что знал, покончил с собой — куском стекла распорол себе живот.

Она ходила по городу, вглядывалась в лица прохожих — может, кто встретится из Яшиных знакомых. Но, страшное дело, ни Яшиных, ни Лешиных друзей нигде не было, будто они ушли из города или загримировались, чтобы Нина их не узнала. И в то же время она каждый раз чувствовала их присутствие: то листовки о разгроме немцев под Сталинградом, то сводки Совинформбюро о победах Красной Армии на фронтах расклевывают во дворе. Кто-то ночью вывесил плакат: «Вчера Москва салютовала в честь победы советских войск Брянского, Западного, Центрального, Степного и Воронежского фронтов — ура!»

Из уст в уста передавали: на Втором судоремонтном заводе подпольщики вырезали кабель высокого напряжения и сорвали пуск силовой установки; груженный в порту пароход вышел в море, взорвался и затонул; паровоз столкнулся с мотодрезиной генерального примаря Одессы Пынти; снова был бой катакомбистов с жандармами в районе Усатова... Конечно же, все это делали друзья ее братьев, но Нина никак не могла разыскать их... Иногда они даже подходили к ней на улице, но так неожиданно, что пока Нина соображала, что к чему, их и след простывал.

Иногда ей казалось, что Яша жив, что убежал он из тюрьмы и ходит где-то рядом, видит ее, все знает о ней и о маме, только на глаза им являться ему не велено... Вот не может же такого быть! Ведь они с мамой на третий день после расстрела тайком пробрались на то страшное Стрельбищное поле, нашли Яшино тело среди других загубленных и похоронили в приметном месте. Нина как сейчас видит: и как мама развязывала проволоку на окоченевших Яшиных руках (руки хоть после смерти должны быть вольными!), и как она сняла с себя

рубашку, чтобы завернуть Яшино тело перед тем, как в яму опустить, — все видит, все помнит. А вот верить не верит в Яшину смерть, верит, что жив он и, может, тот эшелон, что третьего дня, говорят, под откос пошел — его, Яшиных, рук дело...

Однажды летом перегоняли в центральную тюрьму большую колонну арестованных — сто человек, не меньше! Жандармов пеших и конных — пропасть. А народу на тротуарах ту колонну провожало — наверное, весь город сошелся.

Нина все присматривалась — нет ли среди арестованных Яши или Алеши. Нет, братьев не было... И никого из знакомых не было. Только одну девушку среди арестованных Нина признала. Хоть и прошло уже больше года, как она ее видела, хоть и поблекла Лена Бомм, что цветок на морозе, только глаза синими плошками во все личико, а узнала ее Нина. И Лена Нину узнала в толпе, улыбнулась и, будто ношу с плеч скинула, пошла ровнее и тверже.

— Ниночка!

И еще что-то крикнула, да Нина не расслышала — рядом с Леной раздался звонкий юношеский голос:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе...

Нине показалось, что и голос-то был Яшин. И подхватили Яшину песню все, кто был в колонне, и те, кто шел по тротуару, весь город подхватил песню.

— Мол-чать! — надрывались жандармы. Били прикладами заключенных, хлестали плетками тех, кто пел на тротуарах, грозили оружием, но песня ширилась и крепла. Толпа оттерла Нину от края тротуара. Лена потерялась из виду. Но Нина, спотыкаясь в толпе, толкаясь о чужие спины, бежала за колонной, пока тюремные ворота не поглотили заключенных.

Толпа расходилась медленно, неохотно. Гомон плыл

по улицам. Говорили всякое и по-всякому: с издевкой — о румынах, с ненавистью — о сигуранце, с притаенной радостью — о партизанских делах, устало и хмуро — о судьбе арестованных.

— Видала кралю в первом ряду? — спрашивала идущая впереди Нины женщина свою соседку.

— А что? А что?..

— Втюрился, говорят, в нее какой-то локотенент. На офицерские вечера ее водил... Его в Николаев перевели, так он оттуда к ней на мотоцикле прикатывал, с собой звал, жениться обещал. А она его, субчика, ниточкой на палец наматывала, все, что он болтал о части, о солдатских настроениях, о планах, все-все партизанам передавала.

— И правда краля!

Может, это о Лене?.. Спросить?.. Да они и сами, пожалуй, не знают ни имени, ни фамилии той крали. Наверное, все ж таки о Лене... Вот она какая, Яшина подружка!

...Прошло два года с тех пор, как защитники Одессы оставили город.

Матрена Демидовна часто и подолгу болела, глазами совсем плоха стала. Но к осени начала поправляться.

— Доченька, какой завтра день? — спросила она однажды вечером.

— Воскресенье, мама.

— Нет, не то. Какое завтра число?

— Седьмое ноября. Ой, мамочка! — всплеснула Нина руками. — Завтра же наш праздник!

— А ты помнишь, как перед войной мы ходили на Октябрьскую демонстрацию?

— Ну как же! Яша шел в колонне первокурсников морской школы и нес бело-синий флаг, а Лешка с fabri-

кой — с красным флагом. И мы с тобой шли с его фабрикой, за самим оркестром!

— Давай, доченька, завтра пройдем той же дорогой, по тем же улицам до Куликова поля. То ничего, что не будет ни флагов, ни музыки. Если очень захочешь, увидишь и услышишь.

Утром они дошли до Тираспольской площади и повернули на Преображенскую.

Утро было пасмурное, холодное, настоящее осеннее утро. Несильный ветер гнал поверху хлопья тумана. Солнце изредка показывалось и тотчас скрывалось, и серая пелена тумана скрывала крыши домов и верхушки еще не успевших сбросить листья деревьев. Нина и Матрена Демидовна, в ватной кацавейке, стоптанных башмаках, в темном платке и очках, медленно и молча шли вверх по улице. Они не замечали развалин, не слышали чужого говора, не ощущали холода и сырости. Им виделся шумный и яркий поток демонстрантов, празднично одетые люди, флаги и красочные транспаранты, слышался веселый смех, музыка, песни — все, как было здесь три года назад...

На углу Успенской кто-то легко толкнул Нину в плечо:

— Гляди, гляди наверх!

Нина недовольно оглянулась на пожилого мужчину в стареньком пальто и потертой кепке, оторвавшего ее от видений прошлого. Но он, не заметив ее раздражения, весело кивнул ей головой и снова повторил:

— Гляди, гляди вверх. Смотри на купол собора.

Порывом ветра разорвало серую пелену тумана, заголубела прогалина чистого неба. Нина вскинула голову вверх и ахнула:

— Ма-ма!

На самом высоком в городе здании, на шпиле Успен-

ского собора, развеваемое ветром, колыхалось огромное красное полотнище*.

— Что с тобой, Нина? — встревожилась Матрена Демидовна.

— Мама! Смотри, флаг наш, советский флаг над городом!

Матрена Демидовна остановилась, запрокинула голову, то снимала, то снова надевала очки, терла пальцами близорукие глаза:

— Где, флаг, доченька? Где?

— На самой вершине собора, к кресту привязанный.

— И на Пушкинской, на церкви, — тоже флаг, — сказал тот же пожилой мужчина.

— А вчера наши Киев взяли, сам по радио слышал, — сказал идущий с ними рядом, хотя, конечно, знал, что за эти слова он мог поплатиться жизнью.

Только теперь Нина заметила, что по Преображенской, мимо Успенского собора, увенчанного красным полотнищем советского флага, толпами идут люди, пожимают друг другу руки, смахивают с ресниц слезы... А флаг вольно и величаво полощется в синем небе, над плененным, но непокоренным городом, над вечно свободной степью и вечно борющимся морем.

— Мама! Я не верю, что Яша погиб! Он жив! Это его работа!

— Кровь людская даром на землю не падает, дочка, — ответила Матрена Демидовна и, вытерев слезы, пошла вперед — прямая, несогбенная, гордая.

* В ночь на 7 ноября 1943 года на самом высоком здании оккупированной Одессы, на шпиле Успенского собора, группа комсомольцев во главе с Георгием Дюбакиным водрузила советский флаг. Только к вечеру фашисты отважились снять флаг — опасались надписей, сделанных комсомольцами: «Заминировано».

СОДЕРЖАНИЕ

1. Встреча	3
2. Тайна Большого Фонтана	12
3. Матрос с эскадренного броненосца	20
4. Первое задание	28
5. Ли	41
6. На две леи блеска	46
7. Неожданное возвращение	51
8. Выстрелы в полночь	55
9. В катакомбах	64
10. На Нежинской, 75	80
11. Свой или чужой?	96
12. Ради товарища	111
13. Черные дни	119
14. По следу	123
15. «То, что должен совершить я...»	132
16. Шакалы из Галаты	136
17. Бадаев выходит в город	143
18. Золотое колечко	150
19. Данко зажигает факел	154
20. Испытание на стойкость	159
21. О чем кричат тюремные стены	169
22. Палачи меняют тактику	172
23. Варенички	175
24. Побег	182
25. Письма	189
26. Смело, товарищи, в ногу!	197
27. Флаги над городом	201

Карев Григорий Андреевич

«ТВОЙ СЫН, ОДЕССА!» Героическая
повесть. М., «Молодая гвардия», 1972.

208 с. («Честь. Отвага. Мужество».)

P2

Редактор *С. Михайлова*

Оформление художника *А. Блоха*

Художественный редактор *Б. Федотов*

Технический редактор *Л. Никитина*

Корректоры: *З. Федорова, А. Стрелихеева*

Сдано в набор 27/VIII 1971 г. Подписа-
но к печати 19/I 1972 г. А01120. Формат
70×108¹/₃₂. Бумага № 3. Печ. л. 6,5
(усл. 9,1). Уч.-изд. л. 9,1. Тираж 200 000 экз.
Цена 28 коп. Т. П. 1972 г., № 185.
Заказ 1628.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия», Москва, А-30, Су-
шевская, 21.



Григорий Андреевич Карев родился 14 февраля 1914 года в селе Бежбайраки (Кировоградская область) в семье батрака. В шестнадцать лет начал работать грузчиком, затем автогенщиком на новостройках первых пятилеток. Был корреспондентом областной украинской газеты «Ленінський шлях» в Воронеже, затем работал учителем, секретарем районного Совета, инструктором Курского облисполкома. С 1934 по 1961 год служил в Военно-Морском Флоте, участвовал в обороне Одессы, в боях на Волге.

Григорий Карев — автор сборника стихов «Вымпел», сборников рассказов «Экипаж «Бедового», «На океанской волне», «Тайфун», «Одетые в бушлаты», повестей «В морской пучине» «Синее безмолвие», «Хлеб мой, моя вода», романа «Пылающий берег».

Сейчас именем героя повести Яши Гордиенко названа улица в Одессе, его имя носит Одесский областной Дворец пионеров и одно из судов Черноморского пароходства. Это имя с гордостью носят многие пионерские отряды и дружины.